Вано Шадури

Пушкин и грузинская общественность

Пушкин и грузинская общественность

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЛИТЕРАТУРА ДА ХЕЛОВНЕБА»

Вано Шадури

Пушкин и грузинская общественность

Издательство
«Литература да Хеловнеба»
Тбилиси

8 Г 1
871.71.092 [Пушкин]+9(47.922)
Ш 165

Пушкин был, по словам Белинского, не только величайшим русским национальным поэтом, но и гением всемирного масштаба. Горячую любовь к своей родине он органически соединял с искренним уважением и симпатией к другим народам. Писатель широчайшего диапазона, он не ограничивался русской тематикой, а глубоко отражал в своих блестящих творениях и жизнь, и природу других стран.

Особенно следует отметить увлечение Пушкина Кавказом, Грузией. «Муза Пушкина как бы освятила давно уже существующее родство России с этим краем» (В. Г. Белинский).

В настоящей книге исследуются в основном два вопроса: грузинские мотивы в творчестве Пушкина и идейно-творческие связи грузинских писателей первой половины прошлого века с великим русским поэтом. Попутно рассматриваются также некоторые другие вопросы.

7—2—2

ГРУЗИНСКИЕ МОТИВЫ В ЮЖНЫХ ПОЭМАХ ПУШКИНА

I

«Судьба, как нарочно, забросила его туда, — писал о Пушкине Гоголь, — где границы России отличаются резкою, величавою характерностью, где гладкая неизмеримость России перерывается подоблачными горами и обвевается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях... Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга»[1].

Напомню, что «судьба забросила» Пушкина в южную ссылку за вольнолюбивые стихи. Прибыв к месту назначения в Екатеринослав, в мае 1820 года, он после купания в Днепре заболел лихорадкой. К счастью для него, в это время через Екатеринослав проезжал со своей семьей прославленный герой Отечественной войны генерал Н. Н. Раевский, который направлялся на Кавказские Минеральные Воды. Младший сын генерала — Николай Николаевич был близким другом Пушкина.

---

[1] Н. В. Гоголь. Собр. соч., 1950, т. VI, стр. 33—34.

По просьбе Раевских начальство отпустило поэта с ними на Кавказ для лечения.

Два месяца, проведенные на Северном Кавказе, имели для Пушкина исключительное значение. Новый мир, с его величавой природой и своеобразной жизнью, очаровал и вдохновил поэта на создание замечательных художественных творений. Кавказские мотивы, прежде отсутствовавшие в пушкинском творчестве, теперь стали в нем звучать все чаще.

Еще в июле 1820 года, в эпилоге к «Руслану и Людмиле», поэт описал ту новую обстановку, в которой он очутился:

«Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой»[1].

К этому же времени относится начало работы над поэмой «Кавказский пленник», которая была издана в 1822 году и в которой впервые у Пушкина появляются грузинские мотивы. Правда, о Грузии в этом произведении говорится мало, но оно заслуживает особого внимания как первая кавказская поэма, сыгравшая исключительную роль в развитии русской литературы и имеющая первостепенное значение для нашей темы.

О Кавказе, Грузии, писали и до Пушкина, но подлинным первооткрывателем этой «поэтической стороны» был автор «Кавказского пленника». Белинский не без основания писал, что «грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями в первый раз был воспроизведен русскою поэзиею, — и только в поэме Пушкина

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., изд. Академии наук СССР, 1937, т. IV, стр. 86—87. В последующем в тексте в скобках будут указываться том и страницы этого издания.

в первый раз русское общество познакомилось с Кавказом, давно уже знакомым России по оружию»[1].

«Начало всех начал» — великий Пушкин и в данном случае оказался новатором, «Колумбом Кавказа», открывшим новый мир для русских писателей и читателей. Первая южная поэма Пушкина составила целую эпоху в русской литературе. «Кавказский пленник» пленял и восхищал всех новизной темы и жанра, образами, стилем, языком и особенно своим волшебным миром свободы, силы, красоты.

В. Г. Белинский указал на двойственный пафос «Кавказского пленника» — прославление свободолюбивого героя и воспевание Кавказа.

В центре поэмы стоит положительный современный герой, «невольник света», протестующий против оков господствующего общественного строя.

При противоречивости образа Пленника, отмеченной самим Пушкиным («характер Пленника неудачен»), Белинским и современниками, в нем имеются характерные для передовой молодежи черты, прежде всего — свободолюбие.

«Людей и свет изведал он,
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы» (IV, 95).

Пленник — обожатель и искатель свободы.

«Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире».

Недовольство окружающей действительностью, осу-

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собр. соч., изд. Академии наук СССР, 1955, т. VI, стр. 372—373. В последующем в тексте в скобках будут указываться том и страницы этого издания.

ждение пустой светской жизни, бурный протест против господствующих общественных порядков, обрекавших лучших людей на изгнание, жажда воли — все это характерно для поколения декабристов, в том числе — для Пушкина.

Переходя «ко второй половине двойственного содержания и двойственного пафоса поэмы» (В. Г. Белинский), следует отметить, что некоторые авторы, как известно, еще не так давно «доказывали», что Пушкин изображает Кавказ с великодержавно-колонизаторских позиций, облекая «официальную идеологию» в пышную романтическую форму. При этом ссылались, в частности, на эпилог «Кавказского пленника», где воспевается «покорение Кавказа». Замечу, что еще П. А. Вяземский напал на эпилог поэмы, считая его механическим привеском, которым Пушкин «окровавил» произведение.

Ошибочность такого мнения очевидна.

Великий поэт любил край «кипучей жизни и смелых мечтаний» и нередко устами вольнолюбивого горца протестовал против господ и рабов самодержавия, против царизма и крепостничества[1], но в то же время зоркий глаз русского гения ясно заметил и отрицательные стороны «азиатчины», первобытную патриархальность «седого Кавказа».

Видя, что горцы Северного Кавказа не имеют развитых форм государственности, стоят на низком уровне общественного и культурного развития, автор «Кавказского пленника» понял необходимость присоединения Кавказа к России, приобщения горцев к русской культуре. Понимая всю бесполезность и бессмысленность сопротивления неминуемому историческому ходу событий, Пушкин указывал, что кровопролитные войны приносят горцам только гибель и разрушение, что лучше не враждовать, а мирно объединиться в интересах обеих стран, в интересах будущего.

Из сказанного вовсе не следует, что Пушкин считал господствующий в России режим приемлемым. Обще-

---

[1] Это хорошо подметил еще Н. П. Огарев (см. «Пушкин в русской критике», 1950, стр. 500).

известно, что поэт, как и декабристы, боролся не за укрепление и распространение этого режима, а против него, за что был сослан на Юг. Но он понимал, что, кроме отжившей свой век России Аракчеева и Романовых, была Россия молодая, революционная, которой принадлежал сам Пушкин и которой принадлежало будущее. Великий поэт-оптимист верил, что на обломках ветхой империи самовластья, являющейся «тюрьмой народов», будет воздвигнуто светлое здание свободных народов, над которым зажжется «звезда пленительного счастья».

Во всем этом проявилось трезвое и широкое историческое мышление Пушкина, его высокий и гуманный взгляд на русско-кавказскую проблему.

Некоторые исследователи отрицали знание поэтом Кавказа, «доказывали», что в «Кавказском пленнике» дается не реальный, а условно-романтический образ Кавказа и что Пушкин допускает в поэме ряд ошибок[1].

Однако еще В. Г. Белинский указал, что «описания дикой воли, разбойнического героизма и домашней жизни горцев — дышат чертами ярко верными». Истинным героем «Кавказского пленника», по словам Белинского, «был не столько пленник, сколько Кавказ: история пленника была только рамкою для описания Кавказа» (VII, 374, 548).

Сам Пушкин более всего ценил в своей поэме именно описательную сторону и вначале даже намеревался дать произведению заглавие «Кавказ» (так озаглавлена первоначальная редакция).

«Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести», — писал Пушкин В. П. Горчакову (XIII, 52), а в предисловии ко второму изданию «Кавказского пленника» (1828) подчеркивал: «Сия повесть, снисходительно принятая публикою, обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов» (IV, 367).

---

[1] Исследователи (Морозов, Вейденбаум и др.) указали, в частности, на такие «этнографические ошибки» в поэме: Черкешенка поет пленнику «Песни Грузии счастливой», а в «Черкесской песне» говорится о «чеченце».

Позднее, после посещения Грузии в 1829 году, поэт повторил, что в «Кавказском пленнике» «многое угадано и выражено верно» (VIII, 451). В «Кавказском пленнике» мы имеем художественно верное описание кавказской жизни и колоритное изображение обычаев и нравов горцев. Хотя нельзя отрицать, что степень проникновения автора в жизнь, психологию и «стиль» горцев ограничена. «Реализм» Пушкина здесь сводится в основном к географической и этнографической точности. Кавказцы у Пушкина еще не дифференцированы социально и исторически. Поэт изображает черкесов, как «диких питомцев брани», хотя уже отличает среди них привилегированную верхушку, «хитрых узденей» — главных виновников бессмысленной и бесполезной вражды горцев с русскими.

Ограниченность сказалась и в изображении кавказских женщин. Я имею в виду не только Черкешенку в «Кавказском пленнике», но и Зарему в «Бахчисарайском фонтане» (первый образ грузинки в пушкинском творчестве). Эти «девы гор», представительницы «природы», «первобытной простоты», так же как и их портреты и любовь, их характеры и поступки, даны у Пушкина в абстрактно-романтичном плане.

Бросается в глаза и сугубо русский стиль в «Черкесской песне»:

«На берегу заветных вод
Цветут богатые станицы,
Веселый пляшет хоровод.
Бегите, русские певицы;
Спешите, красные, домой:
Чеченец ходит за рекой» (IV, 110).

Так могли петь, конечно, русские девы, а не черкешенки[1].

---

[1] Любопытно, что Лермонтов в своей юношеской поэме «Черкесы» (1828) перенес две строки из этой песни — «Не спи, казак, во тьме ночной, чеченец ходит за рекой», — но эти слова в поэме Лермонтова произносят не кавказские девы, а «стражи русские».

При переложении пушкинского «Кавказского пленника» Лермонтов в своем произведении («Кавказский пленник») пушкинскую «Черкесскую песню» заменяет совершенно противоположной по содержанию песней.

Однако в первой русской романтической поэме уже сказываются реалистические тенденции Пушкина. Это проявляется не только в правдивом изображении кавказской природы и быта, но и в описании отдельных событий истории Грузии.

Переходя к рассмотрению этого вопроса, прежде всего следует остановиться на первоначальном замысле Пушкина, касающемся места действия «Кавказского пленника».

Е. Вейденбаум[1], а вслед за ним Л. Семенов[2] полагают, что первоначально Пушкин намерен был развернуть действие в Чечне. Это предположение обосновывалось двумя аргументами.

Аргумент первый: в письме к Гнедичу от 24 марта 1821 года Пушкин признавался: «Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца» (XIII, 28).

Однако это признание Пушкина свидетельствует о другом: поэт намерен был избрать местом действия произведения не Чечню, а Дарьяльское ущелье. «Берега шумного Терека», «границы Грузии» — это те «Кавказские ворота», которые играли важную роль в истории всего Кавказа и которые своей мрачной красотой приводили в восхищение западноевропейских и русских авторов[3]. «Глубокой теснине Дарьяла» посвятили произведения Пушкин, Лермонтов, Бестужев-Марлинский и другие передовые русские писатели.

Это был самый северный район Грузии, весьма популярный в исторической и художественной литературе, и интерес Пушкина к нему вполне объясним. Однако при первом посещении Кавказа, в 1820 году, поэт не смог побывать здесь. Вместе с тем он избегал описания

---

[1] Е. Г. Вейденбаум. Пушкин на Кавказе в 1820 году. Сочинения Пушкина под ред. С. А. Венгерова, 1908, т. II, стр. 21.

[2] Л. П. Семенов. Пушкин на Кавказе, 1937, стр. 25.

[3] Подробно об этом см.: Вано Шадури. «Первый русский роман о Кавказе», Тбилиси, 1947.

мест и условий, которых не видел собственными глазами; он отображал только то, что ему хорошо было знакомо.

Таким образом, уже в первой романтической поэме Пушкин берет установку на правдивое описание кавказской жизни, объективной действительности.

Аргумент второй: в поэме, в «Черкесской песне», говорится: «чеченец ходит за рекой». В этом, по мнению Е. Вейденбаума, видны следы первоначального замысла Пушкина, развернуть действие в Чечне. Полагаю, что этот аргумент также неприемлем. Больше того, тот факт, что в «Черкесской песне» говорится о грузинах и чеченцах, не может быть квалифицирован как «этнографическая ошибка» Пушкина. Наиболее яркие фольклорные мотивы и образы одного какого-нибудь народа нередко распространялись по всему Кавказу, являвшемуся «муравейником племен и народов».

Характерно, что Лермонтов слышал «грузинскую песню» на Кавказских Минеральных Водах в тех же 20-х годах[1]; почему же не мог услышать ее Пушкин? Ведь в эпилоге «Кавказского пленника» он прямо указывает, что его муза

«Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там» (IV, 113).

Здесь поэт слушал «преданья грозного Кавказа».

Против утверждения, будто Пушкин «путает» черкесов, грузин, чеченцев... говорят, помимо всего прочего, двенадцать авторских примечаний к «Кавказскому пленнику».

Черкешенка, тайно посещавшая Пленника,

«Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой»[2].

А через шесть лет после этого Пушкин написал сти-

---

[1] М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. соч., 1936, т. I, стр. 47, 432.

[2] В одной из редакций она Пленнику «несет грузинское вино» (IV, 306).

хотворение, начинающееся словами: «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной».

Итак, в 1822 году поэт Грузию называет счастливой, а в 1828 году — печальной. Как объяснить это противоречие? Какой же ее считал Пушкин на самом деле — счастливой или печальной? Может быть, автор «Кавказского пленника» еще не знал наш край, находился в «приятном заблуждении» и допустил ошибку, которую исправил позже, когда с помощью литературы и своих друзей, связанных с Грузией, лучше разобрался в вопросе?

Полагаю, что вопросы отпадают после ознакомления с примечанием самого Пушкина к стихам, в которых говорится, что Черкешенка поет Пленнику «песни Грузии счастливой». «Счастливый климат Грузии, — говорится в примечании, — не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения» (IV, 115).

В это небольшое примечание Пушкин вложил огромное содержание, говорящее о его хорошей осведомленности в истории Кавказа. Примечание написано как бы для того, чтобы разъяснить, уточнить — в каком смысле Грузия счастлива. Она прекрасна и счастлива своей природой, благодатным климатом, что же касается пережитых ею исторических событий, то они трагичны и печальны. Пушкин знал, как из века в век терзали Грузию персидско-турецкие погромщики, он знал и о бесчинствах царских башибузуков, когда писал, что счастливый климат не вознаграждает эту прекрасную страну за все бедствия, ею претерпеваемые.

Характерно, что и в черновых вариантах примечания, наряду со словами «счастливая» и «прекрасная» (Грузия), встречается «печальная» (...«не вознаграждает сию печальную страну», IV, 352). В этих вариантах конкретнее говорится и о тех бедствиях, которые претерпевала Грузия («...вечный театр войны, убийств и пожаров»; «вечный театр ужасов войны», IV, 352).

Аналогичную оценку Грузии встречаем, кстати, и у

других передовых писателей—современников Пушкина. Так, Грибоедов, восхищаясь живописной природой Грузии («Путевые заметки», «Там, где вьется Алазань»), сочувственно изображал трагическую жизнь ее обитателей в «Грузинской ночи», «Кальянчи» и других произведениях.

Друг Пушкина А. А. Шишков в предисловии к своему роману «Кетевана» писал, что Грузия «изобиловала всем, что щедрая природа может дать человеку», но «дикие племена ее терзали».

«Дайте Кавказу мир и не ищите земного рая на Евфрате», — восклицал декабрист А. А. Бестужев-Марлинский.

Из всего сказанного следует, что нет никакого противоречия между строками в «Кавказском пленнике» и стихотворением «Не пой, красавица, при мне».

Своеобразной судьбе народа соответствует и характер его песен; они приятны, но заунывны[1]; в них отражается трагически противоречивая, бурная жизнь страны, полная таких контрастов, как любовь и измена, успехи и поражения, убийства и наслаждения.

Характеристика грузинских песен, в частности слова о воспевании в них генерала Цицианова, некоторым литературоведам кажется надуманной и не соответствующей действительности. Однако ничего надуманного здесь нет. Жестокость Цицианова проклинается во многих грузинских песнях, но в то же время имеются и такие, в которых хвалят его за храбрую борьбу против восточных захватчиков — исконных врагов Грузии. Так, например, в народной поэзии Казбегского района (где находится, кстати, Дарьяльское ущелье) бытует песня, в которой прославляется борьба Цицианова с одним из ханов[2].

Следует отметить, что Пушкин вообще интересовался личностью Цицианова. В эпилоге «Кавказского плен-

---

1 Показательно, что и позже, в 1829 году, когда Пушкин побывал в Грузии и близко познакомился с местной жизнью, он проявил особый интерес к грузинским песням и дал о них аналогичный отзыв (VIII, 457, 458, 482).

2 С. Макалатия. Хеви, 1934, стр. 276 (на груз. яз.).

ника» говорится о гибели «россиян на лоне мстительных грузинок» и о том, как «в сече, с дерзостным челом, явился пылкий Цицианов». Генерал Цицианов был назначен в Грузию главнокомандующим в 1803 году вместо Кнорринга, при котором злоупотребления в управлении присоединенной страной достигли сказочных размеров. Цицианов принял решительные меры для удаления из пределов Грузии в Россию потомков грузинских царей, а также вдовствующей царицы Марии Георгиевны, чтобы избавить страну «от внутренних покушений». Генерал Лазарев, которому было поручено выселение царицы, был убит ею кинжалом. На эту нашумевшую историю, долго хранившуюся в преданиях, и намекается в эпилоге «Кавказского пленника».

Таким образом, в первой романтической поэме Пушкина отразились определенные реальные события и явления грузинской жизни. Поэт уже в это время знал о судьбе и характере грузинского народа.

2

В основном тексте «Кавказского пленника» Грузия только упомянута. Что же касается второй южной поэмы Пушкина — «Бахчисарайского фонтана», то здесь дается уже образ грузинки. Если в «Кавказском пленнике» центральным героем был свободолюбивый молодой человек, с которым автор связывал общественную проблематику, то в «Бахчисарайском фонтане» главными являются женские образы с их интимно-трагическими переживаниями.

С характером грузинки Заремы мы знакомимся постепенно. Вначале мы ее не видим, а узнаем о ее красоте из «татарской песни», которую в гареме крымского хана Гирея поют его жены.

«Они поют. Но где Зарема, Звезда любви, краса гарема?» (IV, 159).

Затем автор уже от себя поет восторженный гимн ее красоте:

«...Кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?

Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи;
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?» (IV, 159).

В дальнейшем из рассказа Заремы можно догадаться, что она была похищена:

«Родилась я не здесь, далеко,
Далеко... но минувших дней
Предметы в памяти моей
Доныне врезаны глубоко.
Я помню горы в небесах,
Потоки жаркие в горах,
Непроходимые дубравы,
Другой закон, другие нравы;
Но почему, какой судьбой
Я край оставила родной,
Не знаю: помню только море
И человека в вышине
Над парусами...» (VI, 165).

Ясно, что Зарема — пленница. При всей условности этого образа в ее судьбе отражаются характерные явления из трагической истории Грузии. Известно, что похищение и торговля людьми с Кавказа — явления обычные вплоть до первых десятилетий прошлого столетия.

Попав в гарем, Зарема должна была влачить жалкое существование «в тени хранительной темницы».

Это было невыносимо для Заремы — натуры живой и страстной, жаждущей жизни и любви. К счастью, грозный повелитель, пленивший Зарему, сам оказался плененным ее красотой. Храбрый воин, любитель кровавых битв, покоритель множества людей, он сам покорился юной красавице.

С этих пор, — рассказывает Зарема, —

«Гирей для мирной неги
Войну кровавую презрел,
Пресек ужасные набеги
И свой гарем опять узрел...

...Он клятвы страшные мне дал,
Давно все думы, все желанья
Гирей с моими сочетал» (IV, 165—166).

Можно сказать, что это было не только победой красоты, но и определенной победой человека над дикарем. Под влиянием любви к Зареме Гирей «войну кровавую презрел» и с ней начал делиться своими мыслями, т. е. в нем проснулись какие-то человеческие чувства. Зарема для него не только «гаремный предмет», но и человек, с которым можно делиться. В тюремных условиях, в которых находилась «дочь неволи, нег и плена», это было все же частицей счастья, и, естественно, Зарема очень дорожила ею. «В моей судьбе, — говорит она, — одна надежда мне осталась» (IV, 165).

Но вот в гарем приводят новую пленницу — польскую княжну Марию. Появление этой тихой, голубоглазой и хрупкой невольницы, ее обаяние, помимо ее воли, возвышает хана и одновременно лишает Зарему единственного счастья — любви Гирея.

«Мария плачет и грустит.
Гирей несчастную щадит:
Ее унынье, слезы, стоны
Тревожат хана краткий сон,
И для нее смягчает он
Гарема строгие законы...
...Сам хан боится девы пленной
Печальный возмущать покой;
Гарема в дальнем отделеньи
Позволено ей жить одной» (IV, 161—162).

Определяя основную идею поэмы как «перерождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство любви», В. Г. Белинский писал: «В диком татарине, пресыщенном гаремною любовью, вдруг вспыхивает более человеческое и высокое чувство к женщине...» (VII, 379).

Справедливое мнение! Только с той поправкой, что первый шаг на пути этого перерождения Гиреем уже был сделан раньше — под влиянием любви к Зареме. Теперь он делал второй шаг. В нем проснулись более высокие, гуманные чувства. Но, полюбив Марию, Гирей разлюбил Зарему, и тем самым, обрек ее на жалкое существование. До чего трагически переживала гордая

грузинка этот удар, Пушкин показывает в драматической сцене встречи двух невольниц в комнате Марии, куда Зарема тайком пробралась ночью.

Она то угрожает польке («Кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена»), то умоляет ее: «Сжалься надо мной», «Спаси меня», «Я гибну», «Оставь Гирея мне»,

«Меня убьет его измена...
Я плачу; видишь, я колена
Теперь склоняю пред тобой,
Молю, винить тебя не смея,
Отдай мне радость и покой...
...Презреньем, просьбою, тоскою,
Чем хочешь, отврати его» (IV, 166—167).

Любопытно, что в этой сцене особенно подчеркивается грузинское, христианское, происхождение Заремы:

«Кивот печально озаренный,
Пречистой девы кроткой лик
И крест, любви символ священный,
Грузинка! все в душе твоей
Родное что-то пробудило,
Все звуками забытых дней
Невнятно вдруг заговорило» (IV, 164).

Гаремная пленница, оказывается, еще помнит, правда смутно, и свою родину, и веру своих родителей. Требуя от Марии христианской клятвы, она говорит:

«...хоть я для Алкорана,
Между невольницами хана,
Забыла веру прежних дней;
Но вера матери моей
Была твоя» (IV, 167).

Грузинка, конечно, хорошо понимает, что Мария ни в чем не виновата, что она предпочитает умереть, чем стать женой Гирея, но она является причиной (правда, невольной причиной) несчастья Заремы и потому становится ее жертвой.

«Стареют жены. Между ними
Давно грузинки нет; она
Гарема стражами немыми
В пучину вод опущена.

В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!» (IV—168).

Итак, в «Бахчисарайском фонтане», в отличие от «Кавказского пленника», главную роль играют женские персонажи, особенно Зарема. При всей противоположности тихой, кроткой Марии и трагически страстной Заремы, у них много общего. Обе они пленницы, обе «без вины виноватые» и обе оказывали положительное влияние на «буйного татарина». С гибелью Марии в Гирее вновь проснулись первобытные инстинкты. Он жестоко наказывает Зарему и «опустошает огнем войны Кавказу близкие страны и селы мирные России».

Теперь о мраморном фонтане, воздвигнутом ханом «в память горестной Марии». Пушкин сообщает, что на фонтане

«Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда...
...Младые девы в той стране
Преданье старины узнали
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали» (IV, 169).

Предание это Пушкин слышал еще в Петербурге в 1817—1819 годах. Об этом свидетельствует одна из редакций, посвященная Н. Н. Раевскому, которую поэт собирался предпослать «Бахчисарайскому фонтану».

«Исполню я твое желанье,
Начну обещанный рассказ
Давно печальное преданье
Ты мне поведал в первый раз.
Тогда я грустью омрачился» (IV, 401).

На обратном пути с Кавказа Пушкин, как известно, в августе 1820 года три недели провел в Гурзуфе в семействе Раевских, а потом, в начале сентября, вместе с ними осматривал ханский дворец в Бахчисарае. Здесь

поэт уже второй раз слушал то же самое предание, о чем узнаем из письма Пушкина А. А. Дельвигу: «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного Хана. К** поэтически описывала мне его, называя La fontaine des Larmes [фонтан слез]. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода» (XIII, 252).

Таким образом, нет сомнения, что в основу сюжета пушкинской поэмы положена легенда. Но остается неясным, кто ее рассказал поэту и насколько она подкрепляется историческими фактами. Многочисленные исследователи, писавшие о «Бахчисарайском фонтане»[1], называют разных современниц поэта в качестве возможных вдохновительниц поэмы и объектов любви ее автора. Названо уже девять «кандидатур», но пока ни одна из них не признана бесспорной.

Важнее рассмотреть другой вопрос — имеет ли легенда историческое обоснование?

Известно, что Бахчисарай (по-татарски «Дворец в саду») был центром Крымского ханства с начала XVI века до взятия его русскими войсками в 1783 году. Предание о фонтане связано с именем Керим (Крым) Гирея, который наследовал престол в 1758 году. Это был предпоследний крымский хан — одаренный и образованный человек, искусный дипломат и храбрый полководец, известный своими опустошительными набегами на Новую Сербию и крепость св. Елизаветы. Но в Польше он никогда не был и никакой польской княжны не похищал.

Установлено, что между 1758 и 1764 годами Керим Гирей горячо полюбил пленницу из своего гарема — девушку-христианку. Известно и ее имя — Дилара Бикеч.

---

1 См. исследования Н. Л. Эрнста («Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии», т. II, 1928), Б. Л. Незельского («Пушкин в Крыму», 1929), В. А. Мануйлова («Бахчисарайский фонтан» Пушкина, 1937), Б. В. Томашевского («Пушкин», 1956, кн. I, гл. III), Л. П. Гроссмана (сб. «Пушкин, исследования и материалы», 1960, т. III), и др.

Не будем торопиться с ответом на вопрос, кто она была по национальности — грузинка или полька. Пока важно отметить, что к этой «гяурке» хан воспылал такой страстью, что возвел ее в ранг своих жен. Но она скончалась совсем молодой около 1763—1764 годов. Убитый горем хан похоронил ее неподалеку от дворца и соорудил над могилой мавзолей.

На мавзолее, сохранившемся до наших дней, имеется надпись: «Да будет милосердие божие над Диларою, 1178 г.[1]. Молитву за упокой души Дилары Бикеч».

Рядом с гробницей в том же году был воздвигнут памятный фонтан, от которого осталась каменная плита с двумя надписями — на арабском и татарском языках. Первая заимствована из Корана (сура 77, стих 18): «Там имеется источник, называемый сельсебиль» («райский источник»). Другая надпись славит Керим Гирея, который «устроил прекрасный фонтан». Но этот фонтан был ликвидирован еще в 1787 году во время реставрационных работ, наспех проводимых к приезду в Крым Екатерины II. Взамен его тогда же соорудили новый фонтан внутри дворца и украсили его мраморной плитой с надписями, снятой со старого, исторического фонтана.

Таким образом, подлинного памятника, воздвигнутого Керим Гиреем в память любимой женщины, при Пушкине уже не было. Поэт видел и воспел новый фонтан. Что же касается мавзолея, то Пушкин его вообще не видел, «а то бы непременно им воспользовался», — как впоследствии признавался сам Пушкин, разъясняя: «В Бахчисарай приехал я больной... Лихорадка меня мучила» (XIII, 252). Потому, видимо, осмотр ограничился основным корпусом ханского дворца.

Кто же она такая — эта Дилара Бикеч? Памятники материальной культуры ничего об этом не говорят, но из устных преданий и некоторых письменных документов можно почерпнуть о ней кое-какие сведения.

Еще знаменитый русский естествоиспытатель П. С. Паллас (1741—1811), описавший в конце XVIII века

[1] 1178 геджри, т. е. 1764 год.

роскошный мавзолей, воздвигнутый «доблестным ханом» в память своей супруги, называет её грузинкой[1].

У Палласа были сведения о грузинском происхождении Дилары, видимо, от старожилов Бахчисарая, которые хорошо могли помнить ее. Ведь она умерла лишь за три десятка лет до этого.

Далее, И. М. Муравьев-Апостол, почти одновременно с Пушкиным посетивший Бахчисарай, записал показания ученых мулл. «Влево от верхней садовой террасы.., — пишет Муравьев-Апостол, — стоит красивое здание с круглым куполом: это мавзолей прекрасной грузинки, жены хана Керим Гирея. Новая Заира, силою прелестей своих, она повелевала тому, кому все здесь повиновалось, но не долго: увял райский цвет в самое утро жизни своей, а безотрадный Керим соорудил **любезной** памятник сей, дабы ежедневно входить в оный и утешиться слезами над прахом незабвенной. Я сам хотел поклониться гробу красавицы, но нет уже более входа к нему: дверь наглухо заложена. Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек, все доводы мои остались бесполезными; они стоят в одном: красавица была Потоцкая»[2].

«Путешествие по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола было издано в 1823 году. «Бахчисарайский фонтан», над которым Пушкин работал с весны 1821 года, выпущен в свет 10 марта 1824 года.

Но Пушкин прочел книгу И. М. Муравьева-Апостола лишь после выпуска в свет своего «Фонтана» — в конце

---

[1] Second voyage de Pallas ou voyages entrepris dans les gouvernements méridionaux de l'Empire de Russie pendant les années 1793 et 1794 par m. le professeur Pallas, t. III. Paris, 1811 стр. 36

[2] И. М. Муравьев-Апостол. Путешествие по Тавриде в 1820 году, стр. 118—119.

1824 года[1] и сообщил Дельвигу: «**Путешествие по Тавриде**» прочел я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время, как и И. М[уравьев-Апостол]. Очень жалею, что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для поверки оных потребны обширные сведения самого автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? Различие наших впечатлений». Далее говорится о Бахчисарайском дворце, о ханском кладбище... «Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М[уравьев-Апостол], я [его не] об нем не вспомнил, когда писал свою поэму, — а то бы непременно им воспользовался» (XIII, 251—252).

Наконец, один любопытный факт. Друг Пушкина П. А. Вяземский, работая по просьбе автора над предисловием к первому изданию «Бахчисарайского фонтана», заинтересовался самой легендой, занялся изысканиями ее исторических основ, но не нашел никаких материалов. «Расспросы, — писал он А. И. Тургеневу 18 ноября 1823 года, — не упоминается ли где-нибудь о предании похищенной Потоцкой татарским ханом и навели меня на след. Спроси хоть у сенатора Северина, Потоцкого или архивиста Булгарина».

«О романе графини Потоцкой спросить не у кого.., — отвечал Тургенев, — происшествие, о котором ты пишешь, не графини Потоцкой, а другой, которой имя не пришло мне на память»[2].

Эта «другая» была, видимо, грузинка.

Таким образом, вопреки легенде, почти все живые свидетели и письменные источники указывают, что пленная христианка, в память которой хан воздвиг «фонтан слез», была грузинка. Судя по всему, это соответствовало действительности.

Ведь в Крыму в XVIII веке было множество грузин-пленников и пленниц, похищенных в разное время турецко-персидскими захватчиками и их агентами. В 1774 году, когда Россия победоносно окончила войну с Тур-

---

[1] Хотя выписки из этой книги были приложены П. А. Вяземским к первому изданию «Бахчисарайского фонтана».

[2] Остафьевский архив, 1899, т. II, стр. 367—368.

цией, грузинский царевич Леван обратился к русским властям с просьбой вернуть в Грузию всех пленных из только что освобожденного Крыма[1].

Некоторые исследователи считают, что поскольку Дилара — турецкое имя (персидского происхождения), то она не могла быть грузинкой. Они забывают, что грузинам, попадавшим в плен в Турцию, Персию или Крым, часто заменяли христианские имена мусульманскими. Так же поступил, видимо, и Гирей, назвав свою любимую жену поэтическим именем Дилара, что буквально значит «украшающая сердце» (или «услаждающая душу»).

По мемуарам и исследованиям еще в прошлом веке хорошо было известно, что крымские властители «никогда не обременяли себя законными женами, а набирали себе по желанию грузинок и черкешенок... от которых прижитые сыновья и дочери пользовались титулами султанов и султанш»[2].

Мог ли знать Пушкин обо всем этом, и в частности — о грузинском происхождении жены Гирея? Мог, конечно, как от живых людей, так и из письменных источников. Ведь он над этой маленькой поэмой работал очень долго — в 1821—1823 годах. За это время поэт изучил научные источники, например, монографию С. Сестренцевича-Богуша, в которой подробно обозревалась история Крыма и, в частности, ханствование Керим Гирея[3]. Что же касается художественных произведений, то общеизвестно, что Пушкин в то время «с ума сходил» от восточных поэм Байрона (сам писал, что крымская поэма «отзывается чтением Байрона»); читал также поэму С. Боброва «Таврида» (1798), из которой автор «Бахчисарайского фонтана» заимствовал выражение «Под стражей скопца» и имя Заремы (у Боброва—Зарена).

Итак, поэтическая легенда, в которой предметом обо-

---

[1] А. Иоселиани. Из истории боевого содружества русского и грузинского народов. Тбилиси, 1955, стр. 209 (на груз. яз.).

[2] В. Х. Кондараки. Универсальное описание Крыма, ч. X, СПБ. 1875, стр. 39, 58.

[3] См. указ. статью Л. П. Гроссмана, стр. 86; Пушкин, XIII, стр. 36 и т. д.

жания хана называлась Мария Потоцкая, не опиралась ни на какие исторические факты, но Пушкин, наряду с историческими источниками, использовал и эту легенду, которую поэту рассказали, как было отмечено, по крайней мере, два раза — Раевские и некая «К». Под этой буквой, по мнению проф. Л. П. Гроссмана, следует подразумевать жену (с 1821 года) П. Д. Киселева — красавицу Софью Станиславовну Потоцкую, в которую Пушкин (как и Вяземский) был влюблен. Если это так (а оно кажется убедительным), тогда понятно появление в поэме и польской княжны, и личных лирических чувств автора, отмеченных почти всеми исследователями.

Впрочем, содержание самой легенды, рассказанной Пушкину, точно неизвестно. Мы даже не знаем, говорилось в ней только о польке или и о грузинке. Если поверить словам Пушкина (в письме к А. А. Бестужеву), что он «суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины» (XIII, 88), то можно предположить, что в устном предании говорилось как о ревнивой грузинке, так и о польке. Но возможно, имелось несколько вариантов легенды, которыми автор «Бахчисарайского фонтана» воспользовался свободно, как фольклорным материалом, обогатив ее новыми образами и мотивами (вместо одной ввел двух героинь, внес мотив ревности, убийства, душевной драмы хана и т. д.)

Правдоподобным кажется мнение В. А. Мануйлова, что «в поэме Пушкина дважды нашла отражение история пленной жены крымского хана Гирея: ее исторический облик — грузинка Дилара Бикеч—послужила прототипом Заремы; тот же образ Дилары Бикеч, в предании превратившийся в Марию Потоцкую, был противопоставлен Диларе — Зареме»[1].

«Как бы то ни было, — писал П. А. Вяземский в предисловии к первому изданию поэмы, — сие предание есть достояние поэзии... и наш поэт очень хорошо сделал, присвоив поэзии бахчисарайское предание и обогатив его правдоподобными вымыслами»[2].

В заключение хочется сказать, что не совсем пра-

---

[1] В. А. Мануйлов. «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. 1937, стр. 23.

[2] А. Пушкин. «Бахчисарайский фонтан», 1824, стр. XIV.

вильно распространенное мнение, будто Пушкин, выразив в «Бахчисарайском фонтане» близкие ему интимно-любовные чувства (свою безумно-мучительную любовь), — совершенно пренебрег историческими данными. При всей романтичности и условности фабулы и образов поэмы, воспевающей всепобеждающую силу любви, в ней отразились, как видели, определенные реально-исторические события. Зарема — трагический образ грузинки, попавшей в плен к крымскому хану (что было не редким явлением), — у Пушкина — не только красивая и гордая, но и мстительная женщина. В связи с этим следует вспомнить, что и в эпилоге «Кавказского пленника» говорилось о гибели «на лоне мстительных грузинок» (IV, 113). Такое представление о грузинках у Пушкина сложилось, по-видимому, после нашумевшей истории убийства в Тбилиси генерала Лазарева, о чем говорилось выше.

Таким образом, уже первые романтические поэмы Пушкина свидетельствуют о том, что великий поэт проявлял интерес к Грузии и знание конкретного материала из грузинской жизни и истории.

Каковы же были источники этого интереса и знания?

3

Источниками были, в первую очередь, живые рассказы, а потом, отчасти, литература.

Проследим бегло, насколько позволяют дошедшие до нас прямые и косвенные данные, как на разных этапах жизни и творчества Пушкина до 1825 года постепенно расширялся круг его знакомых, связанных в той или иной мере с Грузией, как все больше обогащались познания о ней великого поэта, почерпнутые из устных рассказов и литературных источников.

Исследователи[1] не без основания полагают, что Пуш-

[1] Г. Н. Леонидзе. Знакомые Пушкина среди грузин (газета «Литературули Сакартвело», 1937, № 5); И. К. Ениколопов. Пушкин в Грузии, 1950; К. В. Айвазян. О «Путешествии в Арзрум» Пушкина (Труды I и II Всесоюзных пушкинских конференций, 1952) и др.

кин слышал о Закавказье, Грузии, еще в период своего детства. Из стихотворения поэта «Сон» знаем, что он в детстве слышал от своей бабки Марии Алексеевны Ганнибал сказку о Бове. Сказка о подвигах Бовы-Королевича и его женитьбе на дочери армянского (по другому варианту — грузинского) царя Зензевея, видно, глубоко запала в память Пушкина, о чем свидетельствуют его трехкратное обращение к этому сюжету и сохранившиеся черновые наброски[1].

Далее, интерес Пушкина к Грузии, Кавказу усиливается в лицейские годы. Характерно, что именно в стенах Царскосельского лицея в 1814 году юный поэт начинает писать свою сказочно-богатырскую поэму «Бова». В ее основу Пушкин кладет сюжет народной сказки, слышанной им в детстве из уст его «мамушки»... Однако поэт пользовался и другими источниками. В XVIII — начале XIX века сказка о Бове-Королевиче передавалась из уст в уста, печаталась в «лубочных» и «забавных» изданиях. Эту «презренную», с точки зрения аристократических кругов, народную сказку «претворил в поэму» и Радищев. В его «Бове» говорится о волшебной Колхиде (Грузии), о походе аргонавтов в эту далекую страну. Легенда об аргонавтах, о том, как Язон в Колхиде похитил, вместе с золотым руном, «сердце нежное» красавицы Медеи, использована и в другой поэме Радищева — «Песнь историческая».

Пушкин хорошо знал эти произведения Радищева по его посмертному собранию сочинений, опубликованному в шести частях в 1806—1811 годах.

На это указывает сам Пушкин в первом варианте поэмы (1814):

«Петь я тоже вознамерился,
Но сравняюсь ли с Радищевым?» (I, 64).

Весьма показательно, что Пушкин и в данном случае в разработке сюжета «Бовы» идет «вслед Радищеву».

Большую роль в усилении интереса Пушкина к Грузии могли играть находившиеся в России грузины. Мы

---

[1] М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине, 1962, стр. 90—104.

знаем, что еще в XVII—XVIII веках многие деятели грузинской культуры, преследуемые персидско-турецкими захватчиками, эмигрировали в Россию и обосновались в Москве, Петербурге и на Украине. Грузины переселялись в Россию и в дальнейшем. Одни из них навсегда остались на Севере (хотя сохранили связи с Грузией), другие приезжали в Россию в качестве гостей к родственникам, по делам службы. Некоторые из них участвовали в Отечественной войне 1812 года и прославились своей храбростью. Так, выдающийся грузинский поэт А. Г. Чавчавадзе вместе с русской армией вступил в Париж в качестве адъютанта Барклая де Толли.

Некоторые закавказцы служили в рядах гусарского полка. Известно, что со многими офицерами этого полка, расположенного после Отечественной войны в Царском Селе, лицеист Пушкин завел дружбу. Поэт тогда встречался не только с Раевским, Чаадаевым, Кавериным, Сабуровым... но и с Давидом Семеновичем Абамелеком, офицером того же полка, армянином по национальности. Поэт и позже посещал дом Абамелека, где, по его же словам, «нянчил» дочь хозяина Анну (III, 285, 884)[1].

Абамелек был в родстве с царствовавшей в Грузии фамилией Багратионов (царевич Давид был женат на Елене Семеновне Абамелек). В доме Абамелека Пушкин мог встречать многих грузин, в том числе царевича Давида и его брата Теймураза, которому принадлежит первый перевод стихотворений Пушкина на грузинский язык.

Пушкин хорошо знал Дмитрия Алексеевича Эристова (Эристави, 1797—1858), который учился вначале в полоцкой иезуитской коллегии, а потом — в Царскосельском лицее, где сблизился с А. С. Пушкиным, А. А. Дельвигом, В. К. Кюхельбекером, М. Л. Яковлевым и другими лицеистами. Дружеские связи между ними сохранились и после окончания Дмитрием Эристави лицея

---

[1] Г. Н. Леонидзе, указ. статья; И. К. Ениколопов, указ. книга; К. Манзай. История л.-гв. гусарского полка, 1859, т. III; см. стихотворение А. С. Пушкина, записанное в альбом А. Д. Абамелек (III, 285).

(1820). Он был постоянным посетителем вечеров А. А. Дельвига, где в выдумке и всяких фокусах состязался с М. Л. Яковлевым, сочинял игривые куплеты. Какие-то из этих куплетов Дельвиг переслал Пушкину, находившемуся в деревенской ссылке. Пушкин из Михайловского осенью 1825 года в свою очередь прислал Дельвигу собственные куплеты («Брови царь нахмуря») с письмом, в котором читаем: «Вот тебе, душа моя, приращение к куплетам Эристова. Поцелуй его от меня в лоб. Я помню его отроком, вырвавшимся из-под полоцких иезуитов. Благословляю его во имя Феба и св[ятого] Боболия[1] безносого» (XIII, 241).

К этому же времени (1824—1826) относится, вероятно, и дружеское письмо Д. А. Эристави В. К. Кюхельбекеру. «Любезный и почтенный друг Вильгельм! — пишет он, — ...Братцы все, слава богу, здоровы. Дельвиг обещал мне доставить стихов для твоего журнала (видимо, для «Мнемозины». — **В. Ш.**), он меня много про тебя расспрашивал и радуется душевно, что ты сделал такие успехи на поприще твоих занятий. Все жители Петербурга, то есть бывшие твои знакомые, очень тобою интересуются, многие не верят мне, что ты исполински шагнул своим талантом»[2].

Д. А. Эристави известен как литератор и историк, сотрудник «Энциклопедического лексикона» Плюшара. Он в содружестве с М. Я. Ковалевым в 1836 году издал анонимно «Словарь о святых, прославленных в российской церкви». Словарь был удостоен Академией наук Демидовской премии. Пушкин дал о нем положительный отзыв в своем «Современнике».

Из потомков грузин, переселившихся в Россию, Пушкин знал также небезызвестного поэта-карамзиниста П. И. Шаликова (из рода Шаликашвили), литератора Н. А. Цертелева (Церетели), фрейлину В. И. Туркеста-

---

[1] Андрей Боболя — монах-иезуит, замученный казаками в XVIII веке.

[2] И. Богомолов. Вильгельм Кюхельбекер и Дмитрий Эристави, журн. «Вопросы литературы», 1963, № 1, стр. 254.

нову (Туркестанишвили), а семья Дадиани даже была в родстве с Пушкиным[1].

Особенно следует остановиться на Цициановых (Цицишвили), пользовавшихся в пушкинскую эпоху большой популярностью в столичных литературных кругах и имевших известные связи с декабристами.

В своем «Воображаемом разговоре с Александром I» А. С. Пушкин писал: «Вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы к[нязю] Ц.[ицианову]» (XI, 23).

Пушкин говорит здесь о Д. Е. Цицианове (1747 — 1835), который славился как большой хлебосол и остряк. Декабрист Н. И. Лорер ему доводился племянником, а известная А. О. Россет (Смирнова), та самая «южная ласточка», с которой дружил А. С. Пушкин, — внучкой. Один из Цициановых, Павел Иванович, фигурировал в Следственном комитете по декабризму, а его брат, Федор Иванович, служивший в Семеновском гвардейском полку, после известного восстания этого полка в 1820 году, был переведен в Псковский пехотный полк. По достоверным сведениям, Пушкин общался с Цициановыми[2], а с Федором Ивановичем Цициановым был дружен и подарил ему свой портрет[3]. После этого становится яснее и интерес автора «Кавказского пленника» к главнокомандующему П. Д. Цицианову.

К кругу людей, с которыми поэт общался в лицейский период и в первые годы после окончания лицея, следует отнести и некоторых уроженцев Армении, Азербайджана и Северного Кавказа[4].

В то время с Грузией была связана также другая группа людей, особенно близкая Пушкину, — русские

---

[1] Сохранилось письмо матери А. С. Пушкина Надежды Осиповны к дочери Ольге, из которого выясняется, что, находясь в Закавказье, Пушкин в 1829 году послал письмо родителям с родственником А. Л. Дадиани, отправленным в Петербург с донесением о победах над турками («Исторический вестник», 1888, т. XXXI, стр. 35—36).

[2] См. «Русский архив», 1902, кн. I, 57—58.

[3] См. акад. изд. сочинений Пушкина, т. XIII, стр. 269; Письма Пушкина под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, стр. 152.

[4] См. К. В. Айвазян, указ. работа, стр. 163—167.

литераторы из декабристских кругов. Некоторые из них были сосланы туда за разные «шалости». В 1818 году за Кавказский хребет перевалили А. С. Грибоедов, А. А. Шишков, А. И. Якубович, а позже — В. К. Кюхельбекер, П. А. Муханов и другие знакомые и приятели Пушкина.

Известно, что Пушкин внимательно следил за их судьбой, интересовался их жизнью, переписывался с А. А. Шишковым и Кюхельбекером, сожалел, что не встретился на Кавказе (в 1820 году) с Якубовичем.

Если учесть все сказанное выше, станет ясно, почему у Пушкина еще в 1819 году возникло желание посетить Грузию. «Пушкин не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию», — сообщал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому 12 марта 1819 года[1].

С прибытием Пушкина на Северный Кавказ летом 1820 года еще больше обогащаются его познания о Грузии.

Здесь для Пушкина открылся новый мир, поразивший его своей красочностью и величием. Об этом свидетельствует, между прочим, письмо поэта к брату от 24 сентября 1820 года.

«Жалею, мой друг, что ты [не] со мною вместе, не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии — любопытен во всех [своих] отношениях» (XIII, 17—18).

Пушкин лично видел «величавые картины», наблюдал обычаи и нравы кавказцев. Поэт вращался в той среде, где, несомненно, рассказывали, а может быть, и пели «преданья грозного Кавказа».

Старый боевой генерал Н. Н. Раевский, в семье которого жил Пушкин на Минеральных Водах, когда-то служил на Кавказе. С 1793 года он командовал Нижегородским драгунским полком, расположенным на Северном Кавказе. С этим полком он принял участие в

---

[1] «Остафьевский архив», 1899, т. I, стр. 200, 202; сочинения Батюшкова, т. III, стр. 555.

известном персидском походе 1796 года. «По получении высочайшего указа Павла I [прекратить поход] полки Кавказского корпуса, взяв Ганджинский гарнизон, отправляются в Грузию»[1]. С начала XIX века Раевский получил новое назначение, но он и после этого интересовался Нижегородским полком, находившимся в Грузии.

Любопытно, что в эпилоге «Кавказского пленника» Пушкин, говоря о «покорении Кавказа», называет трех героев Кавказской войны — «пылкого» Цицианова, Котляревского и Ермолова — боевых соратников Раевского по персидскому походу.

Напомню также, что С. М. Броневский, у которого в Феодосии, на обратном пути с Кавказа, остановились Пушкин и Раевские и о котором великий поэт отзывается в письме к брату, как о «человеке почтенном по непорочной службе и по бедности», был одним из знатоков грузинской истории. В начале XIX века, в то самое время, когда царица Мария убила кинжалом генерала Лазарева, Броневский служил в Грузии правителем при Цицианове.

С. М. Броневский — автор двухтомного труда «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», изданного в 1823 году (через год после появления в свет «Кавказского пленника») и имевшегося в библиотеке Пушкина[2].

Помимо этой книги, в библиотеке Пушкина имелся ряд других произведений о Грузии и Кавказе, изданных в XVIII — начале XIX века. Назову, например, «Жизнь Артемия Араратского, уроженца селения Вагаршапат близ горы Арарат, и приключения, случившиеся с ним от младенчества до совершенных лет; удаление его от своего отечества в Грузию, оттуда в Россию, потом в Персию и наконец возвращение обратно в Россию, через Каспийское море, с описанием многих любопытных предметов, находящихся в его стороне и прочих местах Персии, с приложением шести гравированных эстампов,

---

[1] П. Бутков. Материалы для новой истории Кавказа, часть III, стр. 297.

[2] Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина, («Пушкин и его современники», вып. IX—X, 1910), стр. 15.

изображающих виды городов персидских. Писанный и переведенный им самим с армянского на российский». СПБ, 1813 г.[1].

Известно также, что Пушкин читал «Историю Государства Российского» Карамзина, где содержатся сведения о Грузии, стихи Державина и Жуковского о Кавказе, приведенные в примечании к «Кавказскому пленнику», очерк Якубовича о Кавказе, стихи Кюхельбекера, связанные с Грузией, а также, надо полагать, «Письмо к издателю («Сына отечества») из Тифлиса» Грибоедова (1819), «Письма из Грузии» А. А. Шишкова (1824) и т. д.

Все это говорит о том, что Пушкин интересовался Грузией, что с течением времени у поэта все больше усиливался интерес к ней и обогащались его познания об этом крае.

1 Л. Б. Модзалевский. Библиотека Пушкина (новые материалы). Литературное наследство, № 16—18, стр. 996.

О «САМОВОЛЬНОЙ» ПОЕЗДКЕ ПУШКИНА В ЗАКАВКАЗЬЕ. «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ»

1

При всем обилии материалов о кавказских связях Пушкина вообще мы располагаем весьма скудными сведениями относительно пребывания поэта в Грузии в 1829 году. Наиболее ценные данные содержатся в «Путешествии в Арзрум», но и в нем автор по цензурным соображениям о многом умалчивает, многое недоговаривает, а фамилии почти всех лиц обозначает начальными буквами, которые не все еще расшифрованы.

Пушкин сообщает, что он пробыл в Тбилиси до отъезда в Арзрум «около двух недель[1] и познакомился с тамошним обществом», а на обратном пути с 1 августа провел здесь еще несколько вечеров «в садах, при звуке музыки и песен грузинских». Но с кем именно встречался и что он делал за это время — неизвестно.

Из «Семейной хроники» Л. Павлищева и других источников знаем, что Пушкин писал из Закавказья своим родителям и друзьям (Дельвигу, Плетневу), но до нас дошло лишь одно коротенькое письмо к Ф. И. Толстому, посланное поэтом из Тбилиси в первый же день его приезда в этот город.

Ввиду такой скудости сведений, сообщенных Пушкиным о себе, особое значение приобретают официальные документы и мемуары. Однако и эти источники не

---

[1] С 27 мая по 10 июня. (**В. Ш.**).

отличаются насыщенностью фактами. Официальная переписка сводится к сухим сообщениям о полицейском надзоре за поэтом, а воспоминания современников большей частью касаются несущественных моментов из его жизни. К тому же некоторые воспоминания вовсе не заслуживают доверия. Так, установлено, что сообщение Мартьянова[1] о будто бы состоявшейся встрече Пушкина и Бестужева-Марлинского на Военно-Грузинской дороге или рассказ Максимова, записанный со слов Е. Палавандова[2], — являются чистыми измышлениями.

Неточностями страдают и воспоминания Н. Б. Потокского[3] (на что указывал Е. Вейденбаум[4]), хотя в них содержится ряд ценных сведений, достоверность которых подтверждается другими документами. Направляясь на Кавказ, юноша Потокский, по его же словам, в Екатеринограде встретил Пушкина и вместе с ним приехал в Тбилиси, где они жили в одной гостинице, а по возвращении поэта из Арзрума встречался с ним в доме Санковского.

Интересны воспоминания К. И. Савостьянова[5], служившего в Грузии в 1829 году и описавшего «общий праздник», устроенный тбилисским обществом в честь Пушкина, но, к сожалению, мемуарист не называет участников этого празднества.

К этому же периоду пребывания Пушкина в Грузии относится и «Рассказ кавказского ветерана о Пушкине», записанный со слов П. Ханжонкова В. Пашковым в 1858 году и опубликованный в газете «Кавказ» (1880 г., № 182). Здесь говорится, будто еще до отъезда в армию поэт несколько дней провел в Кахетии, в Карагаче, среди офицеров Нижегородского полка. Не исключена возможность, что Пушкин действительно побывал в Кахетии, но сведения, содержащиеся в воспоминаниях Ханжонкова, требуют еще подтверждения.

О пребывании Пушкина вместе с русскими войсками

---

1 «Исторический вестник», 1885, № 11.
2 «Русская мысль», 1887, XII.
3 «Русская старина», 1880, VII.
4 Кавказские этюды, 1901, стр. 237—239.
5 Пушкин и его современники, вып. XXXVII, 1928, стр. 144—151.

под Арзрумом имеется больше свидетельств. В первый же день прибытия поэта в лагерь, 13 июня 1829 года, с ним познакомился М. В. Юзефович, адъютант Н. Н. Раевского. Юзефович жил в одной комнате с братом поэта — Львом Сергеевичем Пушкиным (тоже адъютантом Н. Н. Раевского) и почти ежедневно встречался с Александром Сергеевичем. Юзефович оставил нам весьма ценные сведения о сходках друзей и почитателей Пушкина (в том числе декабристов) в палатке Раевского, где велись оживленные беседы и где поэт читал своего «Бориса Годунова», отрывки из «Евгения Онегина» и т. д.[1].

Особенно интересны записки декабриста М. И. Пущина, старого приятеля поэта[2]. Пущин часто виделся с Пушкиным, а затем вместе с ним и Р. И. Дороховым совершил путешествие из Владикавказа на Минеральные Воды. М. И. Пущину принадлежат важные сообщения о встречах поэта с декабристами в лагере, а также о его пребывании на Минеральных Водах в августе—сентябре 1829 года.

Отдельные эпизоды из фронтовой жизни поэта описаны в воспоминаниях декабриста А. С. Гангеблова[3], военного писателя Ушакова[4], Радожицкого[5] и офицера Бриммера[6].

Вот, пожалуй, все источники, касающиеся пребывания Пушкина в Закавказье в 1829 году[7]. К сожалению, большая часть воспоминаний писалась спустя десятки лет после событий, когда многие факты забылись, а некоторые спутались в памяти мемуаристов.

---

1 «Русский архив», 1880, № 3.

2 Извлечения из воспоминаний М. И. Пущина впервые были опубликованы А. Е. Розеном в «Русской старине», 1884, т. 41, стр. 303—338; ср. «Русский архив», 1908, №№ 11—12; Л. Майков. «Пушкин», 1899.

3 А. С. Гангеблов. Воспоминания декабриста, 1888, стр. 187—188.

4 «История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах», Варшава, 1843, стр. 303.

5 «Военный журнал», 1857, ч. I — VI, стр. 73—78.

6 «Кавказский сборник», т. XVI, стр. 80—83.

7 К ним можно добавить еще сообщение об анекдотичном столкновении Пушкина с душетским городничим, сделанное со слов Н. Н. Геслинга в «Русской старине», 1892, № 7, стр. 25—27.

Грузия, Закавказье — «сторона мало известная» — давно привлекали внимание Пушкина. Безусловно, неправы те исследователи, которые утверждают, будто Пушкин выехал в Азию «совершенно неожиданно, без всяких приготовлений»[1]. Мнение Вейденбаума, Тынянова и других авторов о «внезапности» и «неожиданности» отъезда поэта в Закавказье является глубоко ошибочным. Мы видели, что интерес Пушкина к этому краю постепенно усиливался еще до 1825 года. Ряд обстоятельств, возникших с 1826 года, особенно русско-персидская война и новая ссылка декабристов, еще больше заострили интерес поэта к Закавказью. Здесь было много близких Пушкину лиц, в том числе причастные к декабризму Раевский, Вольховский, Бурцов, Пущин и другие. В Грузии в то время служили родной брат поэта Лев Сергеевич Пушкин и Грибоедов, которого А. С. Пушкин знал, по его же словам, еще с 1817 года.

С Востока приезжали живые вестники, знакомые, друзья и родственники поэта. Через них Пушкин узнавал о закавказских делах. Известно, например, что он неоднократно встречался с Д. В. Давыдовым, вернувшимся с русско-персидского фронта, и с Грибоедовым, когда тот весной 1828 года привез в Петербург текст Туркманчайского договора.

Важным источником сведений о Грузии была пресса. Помимо сводок с театра военных действий, в русских газетах и журналах печатались путевые записки, корреспонденции и статьи на различные темы закавказской жизни. Издавались также отдельные книги о Грузии, Армении, Персии и Турции. Пушкин, конечно, внимательно следил за литературой. О его хорошей ориентировке в кавказоведческой литературе можем судить, например, по «Путешествию в Арзрум», где имеются ссылки на ряд авторов.

Итак, познания Пушкина о Грузии обогащались с каждым годом. О все возраставшем его интересе к Грузии говорят и неоднократные попытки съездить туда. Первое свидетельство о намерении Пушкина поехать в Грузию, как уже указывалось, относится к 1819 году.

---

[1] Е. Вейденбаум. Кавказские этюды, 1901, стр. 240.

Однако в течение десяти лет этому желанию не суждено было осуществиться, так как поэт почти все время находился в ссылке или под полицейским надзором.

Едва он вырвался из Михайловского, как вновь стал думать о поездке в Закавказье. Думая, что может располагать собою свободно, Пушкин 18 мая 1827 года сообщал брату Льву Сергеевичу, служившему в Нижегородском драгунском полку, стоявшем в Кахетии, следующее: «Завтра еду в П.(етер) Б.(ург) увидаться с дражайшими родителями, comme on dit, и устроить свои денежные дела — из П. Б. поеду или в чужие края, т. е. в Европу, или восвояси, т. е. во Псков, но вероятнее, в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского» (XIII, 329).

Однако и на этот раз поездка не удалась, так как поэт находился в цепких лапах царизма. Именно в это время начались расследования и допросы по поводу распространившегося стихотворения «Андрей Шенье», затем возникло «дело» о «Гавриилиаде»... Находясь под полицейским надзором, Пушкин был лишен права свободного передвижения.

В апреле 1828 года поэт предпринял еще одну попытку. Он вместе с П. А. Вяземским подал на имя царя прошение об определении в действующую армию на Кавказ. «Все места заняты», — ответил Бенкендорф от имени Николая I. Ничего умнее царские власти не могли придумать. «Все места заняты»! Словно речь шла о театральном зале, а не о театре военных действий!

После всего этого, будучи уверен, что официального разрешения на поездку не получит, Пушкин решил предпринять «самовольное путешествие».

В объяснении Бенкендорфу он писал, что отправился не в Грузию или на фронт, а на Минеральные Воды, и уже во время пребывания там возникло у него желание повидаться с братом своим Львом, находившимся в Тбилиси. Давая такое объяснение, Пушкин, конечно, «лукавил». На деле же он с самого начала решил поехать именно в Закавказье и в действующую армию.

Поэт еще 4 марта 1829 года взял подорожную в Пе-

тербурге не до Минеральных Вод, а до Тбилиси[1]. По приезде в Москву Пушкин 20 марта посетил А. Я. Булгакова—московского почт-директора, с которым, видимо, беседовал о предстоящем путешествии на Восток. Последний 21 марта писал своему брату К. Я. Булгакову, выдавшему поэту подорожную в Петербурге, что Пушкин «едет в армию Паскевича узнать все ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть это все»[2]. О том, что Пушкин ехал не на Минеральные Воды, а в Грузию, знали многие его знакомые. Об этом писали и Е. А. Баратынский — П. А. Вяземскому в марте 1829 года (Пушкин «дожидается весны, чтобы ехать в Грузию»[3]), и В. Л. Пушкин — тому же Вяземскому (21 марта)[4], и Н. Н. Раевский-старший своему сыну (командиру Нижегородского полка) 3 апреля 1829 года[5], и П. А. Вяземский своей жене 7 мая того же года, и Ушаков[6], и другие современники. Из сообщения «Тифлисских ведомостей» также следует, что в Тбилиси ждали Пушкина еще ранней весной 1829 года[7].

Таковы факты, неоспоримо доказывающие, что Пушкин с самого начала ехал в Грузию и на фронт военных действий.

«Самовольная поездка» поднадзорного поэта вызвала в правящих кругах большое недовольство и даже тревогу. Весьма показательна в этом отношении исключительная оперативность, проявленная в те дни полицией.

Получив 21 марта 1829 года донесение о предпринимаемом Пушкиным путешествии, Бенкендорф на другой же день послал об этом запрос санктпетербургскому военному губернатору Голенищеву-Кутузову и распорядился о слежке. 26 марта Бенкендорф уже имел ответ: «Честь имею сообщить вам, милостивейший государь,

---

[1] См. «Литературный архив», 1938, т. I, стр. 5.

[2] «Русский архив», 1901, кн. 3, стр. 298.

[3] Литературное наследство, 1952, т. 58, стр. 88.

[4] «Александр Пушкин здесь и едет в Тифлис; к брату» (там же, стр. 89).

[5] Архив Раевских, т. I, стр. 441—442.

[6] «Московский телеграф», 1830, № 12.

[7] «Тифлисские ведомости», 26 апреля 1829 г.

что об отъезде отсюда в Тифлис известного стихотворца, отставного чиновника десятого класса Пушкина, состоявшего здесь под секретным надзором, довел я до сведения главнокомандующего Грузии графа Паскевича-Эриванского»[1].

Узнав о поездке Пушкина, Николай I приказал «потребовать от него объяснений. Кто ему разрешил отправляться в Арзрум, во-первых, это заграница, а во-вторых, он забыл, что обязан предупреждать меня обо всем, что он делает, по крайней мере, касательно своих путешествий. Дойдет до того, что после первого же случая ему будет определено место жительства»[2].

По возвращении поэта с Кавказа Бенкендорф поспешил запросить его, от имени Николая I, кто дал ему разрешение на эту поездку. Шеф жандармов со своей стороны спрашивал: «По каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предупредив меня о намерении вашем сделать сие путешествие?»

Каковы же были на самом деле причины поездки Пушкина в Грузию, вызвавшие столь серьёзное беспокойство властей?

Многие исследователи дают на этот вопрос явно ошибочный ответ. Ошибочным, на мой взгляд, является, например, мнение тех пушкиноведов и кавказоведов, которые считают, будто решение бросить столицу и отправиться в Закавказье было вызвано желанием «рассеяться и забыться от огорчений в связи с неудачным сватовством поэта к Н. Н. Гончаровой»[3].

Другие объясняют поездку Пушкина в Грузию его желанием бежать за границу через Турцию[4]. «Недозво-

---

[1] См. Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, 1910, стр. 185.

[2] Дела III отд. об А. С. Пушкине; изд. Балашева, 1906, стр. 91.

[3] В. П. Пожидаев. А. С. Пушкин на Кавказе, Владикавказ, 1930, стр. 10 и др.

[4] М. Цявловский. Тоска по чужбине у Пушкина («Голос минувшего», 1916, январь, стр. 35—60); Ю. Тынянов. О «Путешествии в Арзрум» («Временник пушкинской комиссии», 1936, т. II, стр. 58). То же самое повторяет И. К. Ениколопов («Пушкин в Грузии», 1950, стр. 95).

ленная поездка Пушкина входит в ряд его неосуществленных мыслей о побеге», — писал Ю. Тынянов[1].

В подтверждение своего положения Тынянов приводит два аргумента: первый из них — это следующие слова Пушкина в «Путешествии в Арзрум»:

«Вот и Арпачай, сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России» (VIII, 463).

Следует ли из этого текста, что Пушкин хотел покинуть Россию? Вовсе нет! Здесь больше чувствуется гордость поэта «необъятностью России» и успехом русского оружия, чем желание бежать за границу.

Второй аргумент Ю. Тынянова: ссылка на письмо П. А. Вяземского к жене, где говорится: «Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся». Тынянов предполагает, что под словом «и далее» подразумевается не театр военных действий, а заграница[2]. На самом же деле здесь имеется в виду, несомненно, русско-турецкий фронт, находившийся за Кавказом.

В документах и письмах пушкинской эпохи хорошо различаются Кавказ (Северный Кавказ) и «за Кавказом». Так, в письме от 18 мая 1827 года к брату, служившему в Грузии, Пушкин писал: «Приезжай на Кавказ и познакомься с нею», имея в виду М. И. Корсакову[3].

Итак, аргументы Ю. Тынянова говорят не о намерении Пушкина бежать за границу, а о том, что поэт с самого начала ехал на русско-турецкий фронт.

---

[1] Ю. Тынянов. Указ. работа, стр. 58.

[2] Там же, стр. 58.

[3] Подчеркнуто мною (**В. Ш.**). См. также письмо зятя поэта Н. Павлищева в «Историческом вестнике», 1888, т. XXXI, стр. 552.

И. К. Ениколопов давнишнее желание Пушкина поехать в Грузию связывает с проектом Грибоедова об учреждении Российской Закавказской компании[1]. По словам Ениколопова, Пушкин мог стать своего рода духовным оружием «в осуществлении программы компании[2]. Несмотря на то, что Грибоедова и других «видных участников компании» (Сипягина, Хомякова, Кастелла) уже не было в живых к весне 1829 года, все-таки, оказывается, одной из причин поездки Пушкина в Грузию была надежда повидаться «с некоторыми из идейных вершителей «Компании»[3].

Нет необходимости доказывать ошибочность этих мнений.

Наиболее правильное объяснение причин путешествия находим мы в черновых вариантах предисловия к «Путешествию в Арзрум», написанных Пушкиным в 1835 году и расходящихся с его же ответом 1829 года Бенкендорфу. Тогда поэт единственной целью поездки в Закавказье выставлял свое желание повидаться с братом Львом.

«По прибытии на Кавказ (имеется в виду Северный Кавказ. — **В. Ш.**), — писал Пушкин Бенкендорфу, — я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой выхлопотать для меня разрешение на приезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу, и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию, в качестве не то солдата, не то путешественника.

Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво; но, по крайней мере, здесь нет ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы

---

[1] И. Ениколопов. Пушкин в Грузии, 1950, стр. 33—34.
[2] Там же, стр. 65.
[3] Там же, стр. 94.

невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные побуждения» (XIV, 397)[1].

В первоначальной же редакции предисловия к «Путешествию в Арзрум» имеется совсем иное объяснение:

«В 1829-м году отправился я на Кавказ лечиться на водах. Находясь в так(ом) близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось туда съездить для свидания с некоторыми из моих приятелей и с братом, служившим тогда в Ниж.[егородском] драг.[унском] полку. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел; армия [уже] выступила в поход. — Желание видеть войну, и сторону мало известную, побудило меня просить у е. с. гр. Паск.[евича] Эрив.[анского] позволение приехать в армию. — Таким образом видел я блестящую войну, увенчанную взятием Арзрума» (VIII, 1021—1022).

Здесь, как видим, названа не одна причина поездки в Арзрум, а три (желание повидаться с приятелями и братом, видеть войну и побывать в малоизвестной стране).

Во второй редакции предисловия названы те же причины, только, в противовес первой редакции, сначала сказано о брате, а затем о приятелях, причем любопытно, что слова «братом и» вставлены. Что же касается окончательной редакции предисловия, то там приведенное место вовсе опущено.

Итак, в письме к Бенкендорфу Пушкин, оправдываясь в своем поступке, назвал лишь одну причину поездки, а в черновиках предисловия — три. Это расхождение легко мог бы заметить шеф жандармов. К тому же не только интимным, но и официальным кругам хорошо было известно, что те «приятели», к которым Пушкин поехал на свидание, были декабристы. Не этим ли следует объяснить то, что во второй редакции поэт их передвинул на второй план, а в окончательном тексте счел более благоразумным вообще умолчать о них?

Следует упомянуть еще об одной причине, о которой Пушкин не мог писать — желание поэта вырваться из тюремной атмосферы столицы, где он находился в тисках полицейских властей.

---

[1] Оригинал на французском языке.

В этой главе я воздерживаюсь от рассмотрения многих вопросов пребывания Пушкина в Закавказье и от всестороннего анализа «Путешествия в Арзрум». Различные стороны обоих этих взаимосвязанных вопросов освещены в ряде статей и книг. В них прослеживается маршрут Пушкина, устанавливается хронологическая канва его путешествия, описываются места, где побывал поэт, рассказывается о людях, с которыми он встречался, и т. д. и т. п. Немало написано и о «Путешествии в Арзрум». У каждого из авторов был свой подход к этому произведению. Одних оно интересовало с точки зрения выяснения содержащихся в нем автобиографических мотивов, другие ставили задачу — определить его жанровое своеобразие или проанализировать его реалистический метод, краткость и точность описаний, третьи хотели установить отношение Пушкина к войне, четвертые занимались расшифровкой «загадочных букв» и проч. Многие вопросы освещены довольно хорошо. Однако отдельные темы в путевом очерке и пребывание Пушкина в нашем крае, — до сих пор остаются недостаточно изученными или неправильно освещенными.

В данной главе речь пойдет о трех вопросах, которые особенно интересовали Пушкина и которые послужили причиной и целью его поездки в Закавказье. Они уже были названы выше. Это — желание поэта встретиться с сосланными на Кавказ декабристами, увидеть русско-турецкую войну и ближе познакомиться со «стороной мало известной» — Грузией, Закавказьем.

Выясним, насколько осуществились желания Пушкина и какое отражение нашли названные темы в «Путешествии в Арзрум»[1].

Но прежде всего — несколько слов о тех условиях, в которых жил Пушкин накануне отъезда в Закавказье.

---

[1] Путевые записи Пушкин вел еще во время поездки. Отрывок из произведения «Военно-Грузинская дорога» был опубликован в «Литературной газете» в 1830 г. (№ 6), в целом же оно напечатано в пушкинском «Современнике» в 1836 г., № 1 (с цензурными пропусками).

2

В пушкиноведении давно установлено, что одной из причин, вынудивших Пушкина предпринять недозволенное путешествие в Арзрум, была та исключительно тяжелая обстановка, в которой ему приходилось жить в столице в 1827—1829 годах.

«...Первые годы, следовавшие за 1825-м, — писал Герцен, — были ужасающие. Потребовалось не менее десятка лет, чтобы в этой злосчастной атмосфере порабощения и преследований можно было прийти в себя»[1].

С воцарением Николая I в России началась чудовищная реакция. Пушкин задыхался в душной атмосфере полицейского произвола и террора. Он терпел бесконечные гонения и травлю со стороны придворных и аристократических кругов, его преследовали Николай I и Бенкендорф, агенты III отделения и реакционные журналисты.

Корни этой не прекращавшейся травли были в том, что Пушкин и после 1825 года оставался свободолюбивым поэтом, врагом рабства и тирании. Имя Пушкина нередко фигурировало на политических процессах, возникавших с самого начала царствования Николая I. Следствие в связи с распространением стихотворения «Андрей Шенье» и «Гавриилиады», закончившееся установлением тайного надзора за поэтом и взятием от него подписки ничего не издавать без цензуры царя и шефа жандармов, лишение права свободного передвижения, бесконечные допросы и предупреждения — таков неполный «букет царских милостей», преподнесенных Пушкину. Все это вызывало в поэте глубокое недовольство и тоску, тревожное беспокойство и «охоту к перемене мест».

Тяжелые мысли одолевали поэта. Никогда еще не чувствовал он так остро царского произвола, как теперь. Находясь в плену у самодержавия, Пушкин нередко переживал моменты величайшего душевного страдания.

Почти всем современникам, встречавшимся с поэтом

---

[1] См. «А. С. Пушкин в русской критике», 1950, стр. 442.

в то время, бросалось в глаза его недовольство, внутреннее затаенное страдание.

«По многим признакам я мог убедиться, — писал Н. В. Путята, — что покровительство и опека императора Николая тяготили его и душили».

В январе 1829 года П. А. Вяземский «не узнавал прежнего Пушкина»[1]. В 1828—1829 годах А. П. Керн находила поэта «часто мрачным, рассеянным и апатичным», С. Н. Карамзина — «угрюмым в обществе»[2].

Пушкин чувствует себя одиноким без своих «братьев, друзей, товарищей» — декабристов. Задыхаясь в тисках политических властей и светском «омуте», Пушкин не находит себе места; он мечется, беспрестанно путешествуя между Москвой и Петербургом, Михайловским и Малинниками, и часто думает о Кавказе и Сибири, где находились его друзья — «государственные преступники» в кандалах и в солдатских шинелях.

Свидание с братом и приятелями, то есть с декабристами, было, пожалуй, наиболее важной целью путешествия в Грузию.

Известно, что царские власти жестоко расправились с восставшими декабристами. Главари «мятежников» были повешены, сотни «государственных преступников» и «прикосновенных» к декабризму сосланы в Сибирь и на Кавказ. В 1826—1829 годах в рядах кавказского корпуса числилось свыше 65 «переведенных» и разжалованных офицеров-декабристов и более 3.000 репрессированных солдат, участников декабрьского восстания. Это была для того времени наиболее прогрессивная военная, политическая и культурная сила, прошедшая школу Отечественной войны и революционной борьбы с царизмом.

Командование Кавказского корпуса «принуждено было», по признанию главнокомандующего И. Ф. Паскевича, использовать опыт и знания декабристов в «восточных войнах». Ощущая недостаток в квалифицированных кадрах, Паскевич, недавно судивший ненавистных ему «злоумышленников» (он был членом верховного

---

[1] Литературное наследство, 1952, т. 58, стр. 86.
[2] Там же, стр. 88.

уголовного суда), нередко предоставлял им на Кавказе ответственные посты при штабе и в полках.

Великого поэта всегда непреодолимо влекло к ним, к друзьям и товарищам. После 1825 года он продолжал хранить и ненависть к господствующему режиму и жар своей любви к героям 14 декабря.

Пушкин постоянно думал и писал о ссыльных воинах разбитой декабристской армии. В самые значительные дни своей жизни он обращался к сосланным декабристам со словами, идущими из глубины души:

«Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!» (III, 80).

Поэт твердо верил в торжество идеалов декабристов. Посылая друзьям на каторгу свое стихотворение, полное горячей любви к ним, поэт писал:

«Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье» (III, 49).

Пушкинская «песнь, — по словам Герцена, — продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в отдаленное будущее»[1].

«Струн вещих пламенные звуки» доходили и до глубины сибирских руд и до горных вершин Кавказа. Эта песнь была «залогом и утешением» для погибающих в «мрачных пропастях» Сибири и на русско-турецком фронте — «в краю чужом».

Сибирь и Кавказ — эти два места овладевают мыслями поэта. Там, в сибирских казематах и кавказской ссылке, отбывали свое наказание близкие ему люди, революционные воины-сподвижники, цвет русской интеллигенции.

Иван Пущин, первый и бесценный друг Пушкина, который приезжал к нему в михайловскую ссылку, теперь сам находился в далекой Сибири. Одновременно с Пущиным к двадцатилетней каторге был приговорен Кюхельбекер — добрый и вспыльчивый Кюхля, брат поэта

[1] См. «А. С. Пушкин в русской критике», стр. 443.

«по музам, по судьбе». В Сибирь были сосланы и А. А. Бестужев, с которым Пушкин еще недавно вел столь оживленную переписку, и многие другие товарищи.

А в другом конце империи, за хребтом Кавказа, сражались пострадавшие за 14 декабря друзья детства и юности — Николай Раевский и Владимир Вольховский, Михаил Пущин и Захар Чернышев, Иван Бурцов и десятки других декабристов.

Всей душой, всеми своими помыслами Пушкин был с ними. Задыхаясь в столице в обстановке полицейского произвола, чувствуя гнетущее одиночество, он рвался на Кавказ, во что бы то ни стало хотел попасть туда. Во-первых, это было его непреодолимой духовной потребностью и, во-вторых, путешествие в Арзрум, свидание с декабристами входили в общий план творческих замыслов поэта. Предстояло продолжение «Евгения Онегина». Декабристская тема должна была отразиться и в других произведениях великого поэта. Требовался живой, конкретный материал.

И вот, пренебрегая грозной опасностью, Пушкин «во глубину сибирских руд» посылает стихи, а на Кавказ отправляется сам. Наконец-то было осуществлено давнишнее желание.

«Я ехал в дальние края;
[Не шумных пиршеств жаждал я]
Искал не злата, не честей
В пыли средь копий и огней (?)

Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить
В забвеньи сладком близ друзей
Минувшей юности моей» (XVII, 29).

Бенкендорф, прекрасно знавший о дружбе поэта с декабристами, легко догадался об основной цели его путешествия. Следует напомнить, что Бенкендорф еще в 1828 году выразил свое полное согласие с великим князем Константином, который писал в связи с прошением Пушкина и Вяземского об определении в армию, что поэтов побуждает к этому не желание «служить его величеству», а желание «найти новое поприще для распространения с бо́льшим успехом и с бо́льшим удобством

своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров»[1].

В свете сказанного становится ясным, почему власти так упорно отказывали Пушкину в поездке в Грузию и почему его «самовольное путешествие» вызвало такое беспокойство в официальных кругах. Хорошо зная, в каких отношениях был «неблагонадежный поэт» с декабристами, и догадываясь, что он едет в Грузию для свидания с ними, царь и шеф жандармов имели основание опасаться всяких «нежелательных последствий».

Скрывая в своем объяснении Бенкендорфу истинную цель своего путешествия, поэт в то же время полагал, что властям она была известна. Он знал, что его не отпустят, почему и обошелся без официального разрешения на поездку. Это было бесстрашным гражданским подвигом, свидетельствующим о силе духовной связи поэта с декабристами.

Первая встреча Пушкина с одним из декабристов произошла еще в дороге. В «Путешествии в Арзрум» читаем:

«В Новочеркаске нашел я графа П[ушкина], ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе» (VIII, 446).

В дальнейшем повествовании Пушкин еще несколько раз упоминает этого своего попутчика, обозначая его всегда начальной буквой. Но в первой редакции текста «Путешествия в Арзрум», начатого 15 мая в Георгиевске («Путевые записки»), о нем говорилось более определенно и подробно. Вот это место:

«...Я благополучно прибыл в Ново-черкаск, где нашел графа Вл. Пушкина, также едущего в Тифлис — (я сердечно ему обрадовался), и мы поехали вместе (VIII, 1027).

Известно, что попутчиком Пушкина был член Северного общества граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин. Он ехал в Тбилиси не по доброй воле. За револю-

---

[1] «Русский архив», 1884, № 6, стр. 319, 322; «Голос минувшего», 1916, стр. 56.

ционное прошлое, после шестимесячного заключения в тюрьме, его перевели из гвардии в армейский Петровский пехотный полк, а оттуда, в 1829 году, — в Тифлисский пехотный полк.

В. А. Мусин-Пушкин был довольно видным участником тайного общества. А. С. Пушкин знал своего попутчика и однофамильца еще прежде, по Петербургу[1], где Мусин-Пушкин вращался в близких поэту кругах. Любитель живописи, он дружил с К. П. Брюлловым, был женат на известной красавице Эмилии Карловне Шернваль, воспетой впоследствии Лермонтовым и П. А. Вяземским, с которым она находилась в дружеской переписке.

В. А. Мусин-Пушкин вез с собой от Н. Долгорукова рекомендательное письмо к лицейскому другу Пушкина В. Д. Вольховскому с просьбой оказать декабристу «содействие»[2]. Таковы краткие данные о том попутчике, которому Пушкин «сердечно обрадовался». Поэт надеялся, что в Тбилиси его ждут еще более приятные встречи.

В Тбилиси Пушкина ждали с ранней весны 1829 года, ждали как друзья-декабристы, так и враги — царские шпионы. За отсутствием прямых данных трудно сказать — сообщил ли поэт своим приятелям о предпринимаемом путешествии, но известно, что тайная полиция вовремя предупредила Паскевича об учреждении секретного надзора за Пушкиным. Распоряжение об этом поступило в Тбилиси задолго до приезда Пушкина. 12 мая Паскевич через своего начальника штаба барона Остен-Сакена предупреждает военного губернатора Стрекалова о предстоящем прибытии в Грузию «известного стихотворца», отставного чиновника X класса Александра Пушкина и об учреждении за ним «надлежащего надзора»[3].

---

[1] См. письма Пушкина под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 38, 245.

[2] Письмо опубликовано И. К. Ениколоповым в газете «Заря Востока» от 15 сентября 1936 г.

[3] Акты, т. VII, стр. 954—955; «Русская старина», 1880, январь, стр. 146; «Кавказская поминка о Пушкине», 1899, стр. 111; «Красный архив», 1930, т. 37, стр. 237—245.

Стрекалов в свою очередь предписывает 14 мая тифлисскому гражданскому губернатору Завилейскому строго следить за поэтом и доносить секретно о его поведении. Кроме того, Стрекалов сам «лично обращал на образ его жизни надлежащее внимание», — как он сообщал после Бенкендорфу[1].

Чтобы лучше следить за Пушкиным, Стрекалов (которого А. А. Бестужев назвал «пустоголовым объедалой»[2]) даже приглашал его к себе на обеды. «Г[енерал] С[трекалов], — читаем в «Путешествии в Арзрум», — известный гастроном, позвал однажды меня отобедать, по несчастью, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал изо стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!» (VIII, 459).

Знал ли Пушкин, что посылал к черту приближенного Николая I, участника следственного комитета по делу декабристов, что Стрекалов приглашал его с той целью, чтобы лучше следить за ним?

Почти с уверенностью можно сказать, что знал; знал от друзей и доброжелателей. А их в Тбилиси, как и везде, у великого поэта было гораздо больше, чем врагов. И в то время как царские сатрапы шпионили за Пушкиным, друзья и поклонники «на руках носили» его.

«Нужно ли говорить о том, — пишет один из современников, — с каким восторгом приветствовали все великого поэта на чужбине! Всякой, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед, или вечер, или завтрак, и, конечно, всякой жаждал беседы с ним»[3].

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин называет только одного из таких поклонников и друзей — Санковского —

---

[1] Акты, т. VII, стр. 955.

[2] «Литературный современник», 1934, № 11, стр. 138. Аналогичный отзыв дает о нем В. Н. Григорьев: «Стрекалов не столько был государственный человек, сколько bon vivant: любил хорошо покушать...» (РОБЩ, Г—IV, № 881, л. 55).

[3] Рассказ К. И. Савостьянова о встречах с Пушкиным (Пушкин и его современники, вып. XXXVII, 1928, стр. 146).

редактора «Тифлисских ведомостей»[1]. Последний, конечно, мог предупредить поэта о полицейском надзоре. Можно не сомневаться, что редактор тбилисской газеты даже по характеру своей работы был в курсе дел, связанных с именем Пушкина[2].

Из воспоминаний К. И. Савостьянова мы узнаем, что «в бытность Пушкина в Тифлисе общество молодых людей, бывших на службе, было весьма образованное и обратило особенное внимание Пушкина, который встретил в среде их некоторых из своих лицейских товарищей»[3]. Одним из них был Н. Н. Геслинг, лицеист выпуска 1826 года (которого поэт называл своим «внуком по лицею»[4]), рассказавший о столкновении Пушкина с душетским городничим[5]. Занимая должность начальника отделения тифлисского военного губернатора, Геслинг мог знать о секретном надзоре за Пушкиным. Сам К. И. Савостьянов — организатор «общего праздника» в Тбилиси в честь поэта — служил здесь «коллежским ассесором» и был также осведомленным человеком. Начальник штаба Д. Е. Остен-Сакен находился в приятельских отношениях с другом Пушкина Н. Н. Раевским. По мнению М. В. Нечкиной, он по своей должности мог легко контролировать собиравшийся Стрекаловым материал о Пушкине, и очевидно, что надзор за поэтом прошел «под знаком доброжелательности Остен-Сакена к Пушкину»[6].

Наконец, П. Д. Завилейский, которому был поручен надзор за поэтом, известен как приятель Грибоедова и его соавтор по проекту Российской Закавказской компании. Завилейский вообще благожелательно относился к вольнодумцам, дружил с передовыми деятелями грузинской культуры. «Благородность его души, — писал о нем А. Г. Чавчавадзе, — его благонамеренность, его неусыпная деятельность по многосложным обязанностям, на него возложенным, его смелая справедливость ко всем,

---

[1] О нем см. в главе «Пушкин и «Тифлисские ведомости».

[2] Вспомним сообщение о великом поэте в «Тифлисских ведомостях» от 26 апреля 1829 года.

[3] Пушкин и его современники, вып. XXXVII, стр. 146.

[4] Письмо П. А. Плетневу от 22 июля 1831 г. (XIV, 197).

[5] «Русская старина», 1892, № 7.

[6] «Каторга и ссылка», кн. 65, 1930, стр. 32.

без различия лиц, особенно же верное и скорое постижение вещей для него новых, чрезвычайно нравились мне в нем и час от часу более усиливали мои к нему любовь и уважение. Он имел об Грузии самое точное понятие...»[1].

Из сказанного следует, что Пушкин знал о полицейской слежке и проявлял осторожность. Он избегал посылать письма по почте, предпочитая отправлять их с близкими людьми (например, с А. Л. Дадиани). Осторожностью объясняется, вероятно, и то, что Пушкин, начав в Георгиевске свой дневник с изложения своего мнения о системе управления горцами, о способах мирного покорения их и т. д., вскоре прекратил подробные записи и ограничился краткими заметками, умалчивая о многих событиях и встречах[2].

Здесь же необходимо заметить, что названные выше лица — и не только они — рассказали, конечно, Пушкину «много любопытного о здешнем крае».

Итак, в Тбилиси у Пушкина оказалось много друзей и покровителей, но декабристов тогда здесь не было. Они находились в походе на Арзрум, и поэт с нетерпением ждал разрешения на поездку туда...

Наконец Стрекалов получил от Паскевича предписание от 8 июня, которым Пушкину разрешалось прибыть в действующий корпус. Одновременно об этом уведомил поэта Раевский, друг Пушкина, командир Нижегородского драгунского полка. Александр Сергеевич немедленно «полетел» в армию и догнал ее 13 июня.

Наконец-то он попал к друзьям юности своей. «Многие из старых моих приятелей окружили меня», — пишет Пушкин в «Путешествии в Арзрум» (VIII, 466). Поэт называет в своем произведении только восемь человек (Мусин-Пушкин, Бурцов, Вольховский, Пущин, Коновницын, Сухоруков, Семичев, Раевский), но, конечно, он общался с более широким кругом «государственных

---

[1] ЦГИАТ, ф. 1457 (материалы следственной комиссии о заговоре 1832 года), т. V, лл. 870—871.

[2] См. Е. Вейденбаум. Кавказские этюды, 1901, стр. 242—243.

преступников» и «прикосновенных». Так, М. В. Юзефович вспоминает, что поэт в лагере встречался с разжалованным З. Г. Чернышевым, служившим рядовым в Нижегородском полку[1].

В том же полку служил декабрист-литератор Н. Н. Оржицкий. Если учесть, что Пушкин «почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку», а к командиру полка Н. Н. Раевскому разжалованные заходили запросто, легко предположить, что Н. Н. Оржицкий также встречался с Пушкиным.

Вместе с упомянутыми в «Путешествии» М. И. Пущиным и П. П. Коновницыным в саперном батальоне служил декабрист Гангеблов, оставивший воспоминания о пребывании Пушкина в действующей армии. Судя по этим воспоминаниям, Гангеблов также не раз виделся с поэтом.

Далее, как известно, помимо Бурцова и Раевского, полками в Кавказском корпусе тогда командовали Леман и Миклашевский — оба причастные к декабризму, а Искрицкий и другие «прикосновенные» выполняли ответственные функции штабных офицеров. По «Путешествию в Арзрум» нетрудно догадаться, что поэт видел их в первый же день приезда в лагерь. Обедая у Раевского 13 июня, он слушал «молодых генералов», рассуждавших о предстоящем выступлении в поход. Вечером того же дня Пушкин попал к Паскевичу как раз «в ту минуту», когда решалась «участь похода», и потому граф был окружен своим штабом. Здесь Пушкин видел, конечно, не только Вольховского и Пущина, о которых он упоминает в «Путешествии в Арзрум», но и других декабристов, занимавших в Кавказском корпусе руководящие посты.

Круг «заговорщиков», с которыми общался и беседовал поэт, этим не исчерпывается. Мы знаем, что в действующей армии были десятки декабристов. Добрая половина их Пушкину была знакома. Слух о приезде прославленного поэта, разумеется, сразу же распространился среди них, и они, конечно, старались повидаться с

---

[1] «Русский архив», 1880, т. III, стр. 444; Пушкин в воспоминаниях современников, 1950, стр. 398.

Пушкиным. Можно себе представить картины этих волнующих встреч.

Перед поэтом стояла фаланга героев с замечательным революционным прошлым — люди, близкие ему идейно. Эти живые свидетели и участники великих событий могли нарисовать Пушкину разные этапы декабристского движения[1].

Имена Бурцова, Вольховского и Пущина были связаны еще с преддекабристской организацией, носившей название «Священной артели» (1814—1815). Одним из организаторов этого «мыслящего кружка» был И. Г. Бурцов[2]. Впоследствии он стал видным деятелем Союза Благоденствия. После восстания 14 декабря он был привлечен к следствию, заточен в Бобруйскую крепость, а затем отправлен в кавказскую ссылку, где он прославился как талантливый и мужественный военачальник. Пушкин встречался с ним под Арзрумом, по-видимому, как со старым знакомым[3].

С Вольховским Пушкина связывала старая дружба. Они шесть лет учились вместе в лицее. Лицеисты высоко ценили своего «Суворочку». Вспомним пушкинские слова:

«Спартанскою душой пленяя нас,
Всегда храним суровою Минервой,
Пускай опять Вольховский будет первый...» (II, 969).

Вскоре после окончания лицея Вольховский поселился в «Священной артели» и жил в Петербурге в одной квартире с Бурцовым[4]. Затем он активно участвовал в Союзе Благоденствия, «состоял в сношениях с Обществом и после 1821 года»[5] присутствовал на собрании у

---

[1] См. С. Гессен. Источники десятой главы «Евгения Онегина» («Декабристы и их время», 1932, т. IV).

[2] См. И. И. Пущин. Записки о Пушкине, 1956, стр. 68.

[3] Учтем, что активными посетителями кружка Бурцова были лицейские товарищи поэта И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер и В. Д. Вольховский (И. И. Пущин. Записки о Пушкине, 1956, стр. 68—69).

[4] ЦГИА, ф. 48, № 240, л. 2; М. В. Нечкина. «Священная артель» («Декабристы и их время», 1951, стр. 176); Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею, 1912, т. I, стр. 32.

[5] Восстание декабристов, т. VIII, стр. 51.

Пущина, где решался вопрос об организации Северного общества, и только потом, по причине частых разъездов, «откололся» от нелегальной организации.

Вольховскому пришлось присутствовать при казни главарей декабристов. В памяти его навсегда осталась страшная картина — пять виселиц, на которых качались тела его друзей! Затем его удалили в Грузию... И вот Пушкин пишет о своем «Суворочке» уже другое: «Здесь увидел я нашего В[ольховского], запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною как старый товарищ. Здесь увидел я и М[ихаила] П[ущина], раненого в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат» (VIII, 466).

Напомню, что этот солдат, принимавший участие в совещаниях командиров, был первым из осужденных лиц, встретившихся поэту. М. И. Пущин, брат И. И. Пущина, лицейского друга поэта, когда-то участвовал в той же «Священной артели», затем накануне восстания он присутствовал на знаменитых последних совещаниях у Рылеева, получил от него задание и, несомненно, через брата, игравшего в движении руководящую роль, хорошо был осведомлен о деятельности тайного общества. М. Пущин был сослан рядовым в Грузию, где он выполнял по существу должность корпусного инженера.

С Северным обществом была связана также деятельность П. П. Коновницына, осужденного по девятому разряду и сосланного в Грузию солдатом, а также — В. Д. Сухорукова[1].

Коновницын вступил в общество лишь в 1825 году и все же принимал личное участие в восстании 14 декабря. Впрочем, о событиях восстания А. С. Пушкин более подробные и достоверные сведения мог получить из другого источника: его родной брат, Лев Сергеевич, был

---

[1] Из членов Северного общества в походе участвовали еще: А. А. Добринский (хороший знакомый Грибоедова), Д. А. Арцыбашев, Н. П. Кожевников, Д. А. Искрицкий, Ф. Г. Вишневский, Петр Бестужев и др.

свидетелем и даже участником этих событий на Сенатской площади[1].

П. М. Леман, Н. Н. Семичев и М. Д. Лаппа принадлежали уже к другому тайному обществу — Южному[2]. Первому из них когда-то Пестель читал отрывки из «Русской правды», а Семичев, служивший под начальством Артамона Муравьева, общался с руководителями Южного общества.

Наконец о З. Г. Чернышеве. Он «был членом Северного общества с 1825 года. Знал цель — введение конституции — и слышал, что общество будет действовать силою оружия и что, в случае сопротивления со стороны императора, предполагается уничтожить его особу и царствующий дом»[3].

Имя Чернышева связано также с историей петербургского филиала Южного общества («кавалергардская ячейка»)[4]. Отнесенный к седьмому разряду «государственных преступников», Чернышев был приговорен к двум годам каторжных работ. После долгого заключения в Петропавловской крепости и работы в Нерчинских рудниках он одно время жил в якутской ссылке вместе с А. А. Бестужевым, а 9 апреля 1829 года был сослан рядовым в Нижегородский драгунский полк. В лице Чернышева Пушкин видел первого выходца из глубин «сибирских руд».

Даже из этого, далеко не полного, перечня кавказских собеседников Пушкина можно заключить, что он был в кругу участников как ранних декабристских организаций («Священная артель», Союз Благоденствия), так и Северного и Южного обществ. Здесь находились свидетели восстания в Петербурге и на Юге и свидетели

---

[1] Из участников восстания в походе 1829 года были также: А. А. Броке, Н. П. Акулов, А. А. Фок, Н. Р. Цебриков, Е. С. Мусин-Пушкин, И. П. Коновницын, А. Л. Кожевников и др. (Известно, что в событиях 14 декабря принимали участие и члены Северного общества Петр Бестужев и Ф. Вишневский).

[2] Следует отметить, что в походе участвовали и члены Общества соединенных славян А. В. Веденяпин, А. К. Берстель и др.

[3] Восстание декабристов, т. VIII, стр. 204.

[4] Подробно — Н. М. Дружинин. Семейство Чернышевых и декабристское движение (Сб. «Ярополец», 1930).

казни декабристов, люди, побывавшие и под следствием, и в казематах Петропавловской крепости, и недавние арестанты, сибиряки, каторжане. Эти люди имели не только героическое прошлое, но и весьма своеобразное настоящее. Находясь в кавказской ссылке, они играли решающую роль в военных действиях, устраивали дружеские сходки, горячо обсуждали злободневные вопросы. Нетрудно представить, какой интерес мог проявлять к их рассказам Пушкин как поэт и гражданин.

А условия для откровенных дружеских бесед были весьма подходящие — в палатке Раевского. Н. Н. Раевский, как мы знаем, сам с юношеских лет был связан с декабристами и привлекался к следствию.

Дружба Раевского с Пушкиным началась во время учебы поэта в лицее; она скрепилась еще какими-то «важными», «вечно не забываемыми» услугами, которые Раевский оказал Пушкину[1]. Девять лет прошло с тех пор, как Пушкин и Раевский вместе путешествовали по Северному Кавказу, но за это время дружеские чувства их не ослабли. Поэт посвятил Раевскому «Кавказского пленника» и «Андрея Шенье», переписывался с ним, всегда с живым интересом прислушивался к его мнению, следил за его судьбой. Узнав в Михайловском об арестах в связи с восстанием декабристов, поэт тревожно запрашивал Жуковского: «NB оба ли Раевские взяты, и в самом ли деле они в крепости? напиши, сделай милость» (XIII, 257). Как только Пушкин освободился из ссылки, он начал думать о встрече с Раевским[2].

И вот, наконец, они встретились вдали от родины, в совсем новой обстановке. Пушкин неотлучно находился со своим старым приятелем. «С ним занимал он палатку в лагере его полка; от него не отставал и при битвах с неприятелем», — сообщает А. С. Гангеблов[3].

Палатка Раевского, в которой Пушкин провел не-

[1] Письмо А. С. Пушкина к брату от 24 сентября 1820 года (XIII, 17).

[2] Письмо А. С. Пушкина к брату от 18 мая 1827 года (XIII, 329).

[3] А. Гангеблов. Воспоминания декабриста, стр. 188.

сколько недель, являлась центром притяжения «заговорщиков» и «мятежников».

Приезд в лагерь Пушкина, прославленного поэта и общего приятеля, особенно способствовал дружеским сходкам. Нет сомнения, что старые товарищи, встретившиеся после долгой разлуки в новых, необычных условиях, часто говорили в палатке Раевского о событиях и лицах, с которыми все они были в какой-то мере связаны, вспоминали 14 декабря и сибирских друзей. Из рассказов Гангеблова мы знаем, что декабристы в таких случаях всегда обсуждали эти «запретные темы» «без умолку» и «с искренним воодушевлением»[1].

Об атмосфере теплой дружбы и откровенных бесед можно судить даже по скупым сведениям, содержащимся в воспоминаниях современников и в «Путешествии в Арзрум».

Вот как описывает М. Пущин свою первую встречу с поэтом в русском лагере. Возвращаясь из разъезда, пишет М. Пущин, «я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского... Не могу описать моего удивления и радости, когда тут А. С. Пушкин бросился меня целовать»[2]. «Всегда... мы сходились с Пушкиным у меня или у Раевского»[3]. Пущин вспоминает «живые разговоры» с Пушкиным, Раевским и другими «за стаканами чая»[4].

Другой мемуарист, М. Юзефович, рассказывает, что как-то он заподозрил в неправильном английском произношении Пушкина, читавшего вслух Шекспира в подлиннике, и в качестве эксперта позвал З. Чернышева. «Чернышев при первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, расхохотался: «Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?» — «Расхохотался в свою очередь и Пушкин»[5]. Здесь же Пушкин читал своим друзьям «Бориса Годунова», отрывки из «Евгения Онегина» и делился своими творческими планами.

---

[1] А. С. Гангеблов. Воспоминания декабриста, стр. 130.

[2] М. И. Пущин. Встреча с А. С. Пушкиным за Кавказом; см. также книгу Л. Майкова «Пушкин», 1899, стр. 387—388.

[3] Там же, стр. 389.

[4] Там же, стр. 388.

[5] «Русский архив», 1880, стр. 444. «Пушкин в воспоминаниях современников», 1950, стр. 398.

«Лагерная жизнь очень мне нравилась», — признается Пушкин, описывая дни, проведенные в окружении старых приятелей. Они гордились своим великим другом, трогательно заботились о нем, каждый из них предлагал ему свои услуги.

На другой же день после приезда Пушкина в лагерь предполагался бой с турками. «Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает, — рассказывает М. Пущин, — я просил его не отдаляться от меня при встрече с неприятелем»; «Раевский не хотел его отпускать от себя». Семичев предлагал поэту находиться при нем[1], Бурцов звал его на левый фланг. Во время столкновения с турками друзья ни на шаг не отпускали поэта, охраняя его как зеницу ока. Когда во время перестрелки с неприятелем Пушкин неожиданно исчез, они подняли страшную тревогу.

«Не успел я выехать, — рассказывает М. Пущин, — как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня: не видал ли я Пушкина? Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун и скачущего, с саблею наголо, против турок, на него летящих. Приближение наше, а за нами улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться»[2]. Так закаленные в боях декабристы спасли своего друга и сохранили России великого поэта.

В Арзруме, после взятия этого города русскими войсками, мы опять видим Пушкина в окружении декабристов.

В июле многие из них покинули Арзрум. 10 или 11 июля Раевский со своей кавалерией выступил в поход. Еще раньше — в начале июля — М. И. Пущин выехал в Тбилиси. Паскевич, по-видимому, нашел предлог не отпускать Пушкина с Раевским, а оставил его при себе,

---

[1] См. Л. Майков. Пушкин, 1899, стр. 388.

[2] Там же, стр. 388—399; ср. Ушаков. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах, 1843, ч. II, стр. 303.

во дворце сераскира, надоедая ему своим лицемерным вниманием. Пушкин неохотно выполнял неприятную обязанность посещать главнокомандующего, зато с удовольствием вспоминает о своих арзрумских встречах «с умным и любезным» декабристом Сухоруковым, который был откровенен с поэтом.

В Арзруме появилась чума, и характерно, что об этом поэта предупреждает опять-таки декабрист. «Возвращаясь во дворец, — пишет Пушкин, — узнал я от К[оновницына], стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию» (VIII, 481).

1 августа Пушкин прибыл в Тбилиси. Встречался ли он здесь с декабристами?

Прямых данных для положительного ответа на этот вопрос не имеется, но если учесть, что кое-кто из декабристов после взятия Арзрума вернулся в Тбилиси, можно предположить, что поэт и здесь встречался с ними.

В этой связи любопытно письмо Е. А. Энгельгардта Ф. Ф. Матюшкину, лицейскому товарищу Пушкина от 18 ноября 1829 года. Сообщая о болезни Вольховского в Грузии, Энгельгардт пишет: «Пушкин приехал... от него мы узнаем подробности о Вольховском, у коего он жил в Тифлисе»[1].

Другое интересное сообщение содержится в воспоминаниях М. Пущина. Он прибыл из Арзрума в Тбилиси в июле 1829 года (за несколько дней до приезда в этот город Пушкина), откуда вместе с Дороховым отправился на Минеральные Воды для лечения ран, полученных на войне. Во Владикавказе М. Пущину пришлось ждать несколько дней «оказии». Здесь и произошла приятнейшая встреча.

«Неожиданно прибегает ко мне Пушкин, — пишет он,—объявляя, что он меня догонял, чтобы вместе ехать

---

[1] Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею, т. I, стр. 78. По другим источникам, Вольховский прибыл в Тбилиси 15 августа. (РОМГ, карт. Вейденбаума.)

на Воды. Понятно, как я обрадовался такому товарищу»...[1] Далее Пущин рассказывает о совместном путешествии в коляске, о пребывании на Минеральных Водах, где Пушкин жил на одной квартире с ним.

Великий поэт везде искал и находил своих друзей-декабристов. Их пути часто скрещивались. Пушкину удивительно «везло» — все дороги вели его к героям 14 декабря. В Грузию он ехал с «прикосновенным» Мусиным-Пушкиным, из Грузии возвращался с «государственным преступником» М. Пущиным.

Неохотно расставался Пушкин с Кавказом. Это видно не только из «Путешествия в Арзрум», но и из переписки родных и друзей поэта[2].

За хребтом Кавказа оставались друзья и «очаровательная жизнь», а в Петербурге ожидались одни неприятности: встречи с шефом жандармов, оскорбительные допросы по поводу «самовольной поездки», мелочная опека царя и травля со стороны реакционных журналистов и усердных агентов III отделения.

Кавказское «свидание с декабристами» имело огромное значение для творчества Пушкина. Оно оставило неизгладимый след в его памяти. Встречи с живыми свидетелями и участниками героических событий, их рассказы о недавнем «кипении страстей» в тайных обществах, о восстании и его разгроме, об арестах и следствии, о предсмертных судорогах Пестеля и Рылеева на виселице, о братьях и товарищах, заживо погребенных в мрачных пропастях земли сибирской и, наконец, сама поднадзорная жизнь, а также новые ратные подвиги героев 14 декабря — все это властно владело сознанием Пушкина.

Поэт живо представил героическое прошлое и настоящее своих друзей и, несомненно, проникся к ним еще большим уважением и любовью. Уезжая с Кавказа, он был охвачен чувством безграничной гордости за них.

Очутившись вновь в духоте петербургской полицей-

---

[1] Л. Майков. Пушкин, 1899, стр. 390.

[2] «Литературное наследство», 1934, № 16—18, стр. 775; «Старина и новизна», 1902, кн. 5, стр. 38.

щины, узник царизма, травимый Бенкендорфом и Булгариным, мысленно находился с теми друзьями юности, с которыми он недавно так оживленно и задушевно беседовал после долгой разлуки. Он чувствовал необоримую потребность рассказать о них, облечь в поэтическую форму те впечатления, которые вынес из встреч и бесед с мужественными, самоотверженными героями, с верными и истинными сынами отечества.

Никогда Пушкина не занимала тема декабризма так сильно, как в 1829—1831 годах. Именно в это время, под свежим впечатлением всего виденного и слышанного в Закавказье, в нем с необычайной силой вспыхнуло творческое возбуждение. Душа поэта, охваченная трепетным волнением, жаждала «излиться свободным проявлением» — рассказать о героических делах своего поколения.

Однако писать об этом строго запрещалось. После путешествия 1829 года Пушкин начинает создавать ряд произведений на запретную тему, но одни из них уничтожаются самим поэтом, другие им тщательно зашифровываются, а третьи остаются в виде планов и отрывков.

Таковы IX (первоначально VIII) и X главы «Евгения Онегина», «Роман на Кавказских Водах», начало романа «Русский Пелам» и, наконец, «Путешествие в Арзрум». Все они (за исключением «Русского Пелама») были начаты — и это весьма показательно — на Кавказе или вскоре после возвращения поэта из Арзрума. Отныне тема декабризма у Пушкина часто переплетается с темой Кавказа.

«Путешествие в Арзрум» — единственное печатное произведение этого периода, в котором поэту удалось так или иначе высказаться о декабристах. В путевом дневнике, предназначенном для печати, Пушкин, конечно, не мог говорить сколько-нибудь откровенно о людях, памятных по 14 декабря. Дело не только в том, что о них вообще запрещалось писать. Правительство знало, что поездка Пушкина в Грузию и Арзрум была вызвана именно желанием повидаться с декабристами. Пушкин понимал, что произведение, в котором хоть вскользь будет затрагиваться тема декабризма, не увидит света, а

лишь подтвердит подозрения правительства и вызовет новые неприятности.

Но, зная все это, Пушкин все-таки пошел на довольно рискованный шаг, прибегая к разным приемам введения в «Путешествие» сугубо запретной темы.

Один из таких приемов встречается в начале путевых записок. Вслед за рассказом о приятной встрече с В. А. Мусиным-Пушкиным автор описывает степную полосу и при этом вспоминает и цитирует Рылеева («Петр Великий в Острогожске»), не называя, конечно, источника. Вот это место:

«Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны» (VIII, 446).

Однако цитирование декабристов было слишком неприкрытым способом напоминания о них, поэтому из текста, предназначенного к печати, Пушкин сам изъял эту цитату.

Иногда в «Путешествии» встречаются косвенные намеки на положение декабристов, сосланных в Кавказский корпус. Рассказывая о Тбилиси, поэт будто между прочим замечает: «Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским, толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание» (VIII, 458—459).

Однако чаще всего применяет поэт прием зашифровки. Фамилии декабристов он обозначает начальными буквами (чтобы — «спутать карты», так же поступает он и в отношении некоторых других лиц, «благонадежность» которых была вне всякого сомнения, например, Абрамович, Бутурлин...). Исследователям, к счастью, удалось расшифровать те буквы, под которыми Пушкин скрывал «государственных преступников» и «прикосновенных». Мы знаем, что под буквой «П» скрывается В. А. Мусин-Пушкин, под «В» — В. Д. Вольховский, «К» — П. П. Коновницын. Инициалами «М. П.» и «П.», которые часто мелькают в тексте «Путешествия», обозначается М. И. Пущин, а под «С» подразумевается в одном случае Н. Н. Семичев, в другом — В. Д. Сухоруков. Интересно, что фамилия Н. Н. Раевского без сокра-

щения дается только в необходимых случаях, и главным образом тогда, когда речь заходит о событиях, связанных с официальными лицами, а не с именем Пушкина (Паскевич послал против турецкой конницы «генерала Раевского», но — «обедая у Р., слушал я молодых генералов», «я воротился к Р. и ночевал в его палатке»...).

Благодаря приему зашифровки, которая носит особенно сложный характер в десятой главе «Евгения Онегина», Пушкину удалось сохранить для потомства ценные поэтические страницы, повествующие о первых русских революционерах.

Едва ли надо доказывать, что поскольку во «встречах 1829 года» участвовали две стороны — Пушкин и декабристы, — то они имели значение для обеих сторон. Между тем в исследованиях эта тема освещается односторонне. Выясняя значение «Закавказского свидания» для поэта, специалисты даже не ставят вопроса о его значении для самих декабристов, сосланных на Кавказ. Постараюсь коснуться этой стороны хотя бы в порядке постановки вопроса.

Вслед за отъездом Пушкина из Грузии здесь произошли три крупных события, имевших определенную связь с пребыванием поэта среди сосланных декабристов. Это — нашумевшие «дела» о Раевском, о «предосудительных сходках» в Тбилиси и арест Сухорукова, причастного к декабризму. О Сухорукове будет сказано позже — в главе «Пушкин и «Тифлисские ведомости», а пока кратко остановлюсь на первых двух событиях.

1 августа 1829 года Пушкин из лагеря приезжает в Тбилиси, здесь проводит он шесть дней. В конце того же месяца из лагеря в столицу Грузии выезжает генерал Николай Раевский в сопровождении декабриста Семичева и сорока «нижных чинов», среди которых были и несколько разжалованных, «напросившихся» в конвой к Раевскому. 4 сентября Раевский прибывает в пограничное укрепление Гумры, где из-за карантина останавливается на три дня. Здесь он часто приглашает к своему столу разжалованных и вообще держится с ними дружески. Об этом доносят властям. Начинается целое след-

ствие. Раевского арестовывают, снимают с должности и удаляют из Грузии[1].

Еще до окончания расследования «проступков» Раевского возникло новое дело о «предосудительных сходках» декабристов в Тбилиси. Об этом говорится, между прочим, и в известных воспоминаниях декабриста А. Гангеблова.

После окончания русско-турецкой войны, осенью 1829 г., декабристы, рассеянные по разным полкам, начали собираться в столице Грузии под разными «законными и незаконными» предлогами. Гангеблов пишет: «Мы сходились по вечерам то у того, то у другого... Иногда по два и более раза в неделю». Вечера эти были подобием «вторников» Искрицкого в Петербурге[2].

Узнав об этих «собраниях», власти, по словам Гангеблова, «всех живших в Тифлисе декабристов разослали по разным местам с жандармами, что произвело в Тифлисе заметное впечатление»[3].

В связи с этой историей, естественно, возникает вопрос, каким образом разжалованным декабристам удалось отлучаться из своих полков на довольно долгое время, незаконно проживать в Тбилиси, да еще устраивать регулярные сходки?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо напомнить, что большинство названных Гангебловым декабристов (он не всех помнил), проживавших в Тбилиси, «неизвестно, по какому праву», причислялось к тем полкам, где командирами были причастные к декабризму лица, «помогавшие и покровительствовавшие» своим разжалованным друзьям.

Так, Оржицкий был из Нижегородского драгунского полка, возглавляемого Раевским; Бестужев-Марлинский служил в 41 егерском полку, командиром которого был «прикосновенный» Леман; Мусин-Пушкин числился в 42 егерском полку под начальством также «прикосновенного» Миклашевского; наконец, Ширванским пол-

---

[1] Подробнее об этом см. В. Шадури, «Декабристская литература и грузинская общественность», 1958 г. стр. 196—204.
[2] А. С. Гангеблов. Воспоминания, 1888, стр. 202—203.
[3] Там же. 1888, стр. 207.

ком, в котором служили участники сходок Вишневский и Петр Бестужев, командовал «семеновец» Кошкарев.

Выясняется, что причастные к декабризму командиры отпускали их под разными предлогами в Тбилиси. А здесь, в столице Грузии, надзор за ними должен был осуществлять исполняющий обязанности коменданта города полковник Бухарин. Но в декабре 1829 г. следствие показало, что Бухарин не стеснял незаконно проживавших в Тбилиси декабристов. Больше того, Бестужев-Марлинский часто бывал у него дома как «свой человек». Это и неудивительно: Бухарин, оказывается, сам был политически «неблагонадежным» человеком — он был исключен из гвардии за принадлежность к каким-то тайным обществам[1]. Таким образом, мы имеем дело с весьма оригинальным положением: надзор за декабристами в Тбилиси был возложен на человека, который сам должен был находиться под надзором.

О чем свидетельствуют эти события и некоторые другие политические процессы в Закавказье?

Главнокомандующий Паскевич писал Николаю I: дело Раевского говорит о том, что среди сосланных на Кавказ существует «дух сообщества, который по слабости своей не действует, но с помощью связей между собою живет... По множеству здесь людей сего рода главное к наблюдению есть то, чтобы они не имели прибежища в лицах высшего звания и, так сказать, пункта соединения. В сем отношении удаление отсюда г. м. Сакена есть полезно; удаление г. м. Раевского также; весьма полезно удалить и г. м. Муравьева»[2].

Паскевич был прав, когда писал, что среди декабристов существует «дух сообщества», что они находят прибежище «в лицах высшего звания» («пункты соединения»). Такими были и Раевский, и другие командиры полков, причастные к декабризму, и в свое время Грибоедов, о котором Петр Бестужев писал, что несмотря на опасность общения с гонимыми, он «явно и тайно» помогал им.

Весьма интересно, что в политических процессах,

---

[1] ИР. Картотека Вейденбаума («Бухарин»).

[2] «Русская старина», 1903, июнь, стр. 489—490.

возникших в Грузии вслед за отъездом оттуда Пушкина, главными «действующими лицами» оказались: его друг Раевский, декабрист Семичев, который так трогательно оберегал поэта на фронте и своим мужеством спас ему жизнь; «государственный преступник» Чернышев, который, по воспоминаниям Юзефовича, в палатке Раевского дружески подшучивал над неправильным английским произношением Пушкина, читавшего Шекспира в оригинале; член Северного общества Владимир Мусин-Пушкин — попутчик поэта из Новочеркасска до Грузии; декабрист Сухоруков, с которым Пушкин вел в Арзруме оживленные беседы, и другие.

Из сказанного вовсе не вытекает, будто дела́ о Раевском, о сходках в Тбилиси и т. д. были следствием пребывания Пушкина в Закавказье. Нет, конечно. Они были вызваны давнишним понятным стремлением декабристов, разобщенных после восстания, использовать всякие возможности для новых встреч, чтобы поделиться пережитыми событиями, мыслями и воспоминаниями. Такая возможность им особенно представилась после окончания русско-турецкой войны — осенью 1829 года.

Но несомненно и то, что прибытие в русский лагерь задушевного друга и певца декабристов, прославленного поэта, было огромным событием, которое способствовало восстановлению прерванных связей между ними. Находясь в лагере более месяца — с 13 июня до 21 июля,— Пушкин безусловно стал одним из тех центральных «пунктов соединения злоумышленников», о которых говорил Паскевич, одним из крупных факторов, способствовавших оживлению «духа сообщества» среди декабристов.

Здесь только ставится этот вопрос. Возможно, в дальнейшем новые материалы или новое осмысление уже известных фактов позволят сделать более определенные выводы о значении встреч 1829 года не только для Пушкина, но и для самих декабристов, сосланных на Кавказ.

3

Если в десятой главе «Евгения Онегина», в планах и набросках о кавказских приключениях Якубовича, в «Русском Пеламе» Пушкин хотел изобразить прошлое героев 14 декабря, то в «Путешествии в Арзрум» он повествует об их настоящем, о борьбе ссыльных декабристов с турецкой агрессией.

Почти все исследователи, писавшие о поездке Пушкина в Арзрум, в той или иной мере касались отношения великого поэта к русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Наиболее широкое распространение в пушкиноведении получила, как ни странно, ошибочная точка зрения, утверждающая, будто Пушкин относился к войне России против Турции иронически-отрицательно.

Так, по мнению Ю. Тынянова, для Пушкина характерен был взгляд «на завоевательные войны 1828 — 1829 гг.», как на дело «правительственное», а не «отечественное»[1].

«Герой «Путешествия в Арзрум», — пишет Тынянов, — авторское лицо, от имени которого ведутся записки, — никак не «поэт», а русский дворянин, путешествующий по архаическому праву «вольности дворянской» и вовсе не собирающийся «воспевать» чьи бы то ни было подвиги»[2].

Мнение об отрицательном отношении Пушкина к русско-турецкой войне наиболее четко изложено в статье Ю. Тынянова, но вообще оно выражено во многих работах, написанных на эту тему.

И. К. Ениколопов, например, заявил в своей книге, что истинную причину издания Пушкиным «Путешествия в Арзрум» следует искать «именно в намерении поэта написать сатиру на самый поход (русских войск) и на главнокомандующего Паскевича, что поход не казался Пушкину «героическим, а тем более оправданным»[3].

Правда, в последнее время в пушкиноведении было высказано и противоположное мнение. К. В. Айвазян

[1] Ю. Тынянов. О «Путешествии в Арзрум» («Временник», вып. 2, стр. 58).

[2] Там же, стр. 67—68.

[3] И. К. Ениколопов. Пушкин в Грузии, 1950, стр. 127.

раскритиковал тыняновскую концепцию[1], но он, на мой взгляд, в своей довольно удачной работе все же не вскрыл корней основного порока «традиционной концепции».

Не претендуя на всестороннее освещение темы, постараюсь выяснить отношение Пушкина к «кампании 1829 г.».

Прежде всего необходимо отметить, что Ю. Тынянов и другие исследователи неправильно понимают характер русско-турецкой войны, и свое ошибочное мнение они приписывают Пушкину. Война против Турции трактуется ими как исключительно завоевательная, реакционная, в ведении которой было заинтересовано только и только царское правительство.

Между тем в оценке русско-турецкой войны Пушкин стоял на позициях декабристов, которые прекрасно понимали историческое значение борьбы с турецкой агрессией.

Известно, что в движении декабристов участвовала главным образом офицерская молодежь. Многие из них были выходцами из семей выдающихся военных деятелей. Офицеры-декабристы выделялись высоким уровнем военно-теоретической подготовки. Они были воспитаны на славных традициях русского национального военного искусства, воплощенных в заветах Суворова и Кутузова, в героической эпопее Отечественной войны 1812 года. Основываясь на передовых политических и философских идеях своего времени, они отстаивали эти традиции в борьбе с реакционным царским генералитетом[2].

Идея борьбы против «варварской империи» (Турции) была популярна в декабристской среде еще задолго до войны 1828—1829 годов. Эта идея органически вытекала из революционно-патриотического, антифеодального мировоззрения героев 14 декабря. Господствующие классы военно-феодальной Османской империи

---

[1] К. В. Айвазян. О «Путешествии в Арзрум» Пушкина (Пушкин и Армения). (Труды первой и второй Всесоюзных пушкинских конференций, 1952.)

[2] Подробнее см. Е. А. Прокофьев. Борьба декабристов за передовое русское военное искусство, 1953.

сотни лет терзали балканские и кавказские народы. Турецкие завоеватели держались за примитивную технику, отсталое натуральное хозяйство, прибегали к варварской эксплуатации, мешали развитию новых производственных отношений.

Декабристы, как носители антифеодальной идеологии, всегда горячо выступали против тирании и фанатизма султанской Турции, приветствуя и поддерживая национально-освободительное движение угнетенных народов. Вспомним, что, когда в 1821 году в Греции вспыхнуло восстание против турецкого владычества, декабристы, как и Пушкин[1], выразили свое глубокое сочувствие восставшим.

После разгрома декабристов, как уже было отмечено, на кавказский фронт были отправлены десятки офицеров, причастных к декабризму, и тысячи «мятежных» солдат.

Правда, многие из них, как «преступники», перед отправлением в ссылку были лишены орденов и чинов, но с лишением звания они не лишались знаний. Сорвать с груди героя орден еще не означало отнять у него военные способности, мужество и боевой опыт.

Мы знаем, что командование Кавказского корпуса было вынуждено использовать эту квалифицированную воинскую силу. Заняв многие командные посты, декабристы получили возможность оказать решающее влияние на ход и исход войны.

Оставшись верным своим прежним идеям, большинство ссыльных декабристов справедливо считало, что борьба против турецкой агрессии — «дело правое» и прогрессивное. Герои Бородина и Сенатской площади шли на штурм Ахалцихе и Карса в убеждении, что они борются за освобождение народов от восточного деспотизма.

Пушкин, как и декабристы, хорошо сознавал, что Кавказ был одним из узловых пунктов столкновения и борьбы интересов России, стран Запада и Востока. Поэт

---

[1] См. стихи «Война», «В. А. Давыдову», «К Овидию» и т. д., а также письма (XIII, 22, 104).

понимал всю важность происходящих на Востоке событий 1828—1829 годов и с волнением следил за ними.

Пушкин не хотел оставаться в стороне от этих событий. Пленник самодержавия, подобно декабристам, находившимся на каторге и в темницах, он рвался на фронт, туда, где сражались его друзья.

Из писем Павлищева, Булгакова, Раевского, а также из сообщения Ушакова мы знаем, что в план путешествия поэта в 1829 году с самого начала входила поездка на Закавказский фронт, «где турецкие пули свищут», с тем, чтобы узнать «все ужасы войны... может, и воспеть все это».

Пушкин, как и декабристы, считал своим патриотическим долгом принять участие в «правом деле» и рассказать о нем всю правду, в противовес той лжи, которую распространяли реакционные писатели.

Военно-патриотическое возбуждение Пушкина, «полусолдата, полупутешественника», выражалось, между прочим, в его горячем желании принять личное участие в сражениях.

Рассказывая о своей встрече с поэтом, только что приехавшим на фронт, М. И. Пущин сообщает: «А. С. Пушкин бросился меня целовать, и первый его вопрос был: «Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, за чем сюда с такими препятствиями приехал»[1].

Широко известен рассказ военного писателя Ушакова об участии поэта в сражении с турками на второй же день после его прибытия в действующую армию — 14 июня[2].

Достоверность рассказа о «военном воодушевлении» Пушкина подтверждается и Гангебловым, Бриммером, Радожицким и самим поэтом, который, припоминая описанный случай на фронте, нарисовал себя в альбоме Е. Н. Ушаковой с пикой, в бурке и в круглой шляпе.

Таким образом, в лице Пушкина в Арзрум отправил-

---

[1] Л. Майков. Пушкин, 1899, стр. 388.

[2] История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах, 1843, стр. 303.

ся не беспристрастный «русский дворянин», как это утверждает Тынянов, а пламенный поэт-патриот, принимавший самое активное участие в политической жизни своей страны и понимавший историческое значение борьбы с турецкой агрессией.

Следует опровергнуть и утверждение, будто Пушкин не захотел откликнуться на войну, продемонстрировав тем самым свое отрицательное отношение к ней. Правда, вернувшись с фронта, Пушкин в 1830—1832 годах опубликовал из «кавказского цикла», главным образом, пейзажные стихотворения — «На холмах Грузии», «Кавказ», «Обвал», «Монастырь на Казбеке», а из «Путешествия в Арзрум» напечатал (в «Литературной газете» в 1830 году) лишь отрывок под заглавием «Военно-Грузинская дорога», где также ни слова не сказано о войне. Но поэт вовсе не остался равнодушным к событиям русско-турецкой войны. Он отразил свои фронтовые впечатления в ряде произведений.

Называя только «маленькую сатирическую трилогию», Ю. Тынянов умолчал, во-первых, о замечательном стихотворении Пушкина «Дон», напечатанном еще в 1831 году, и, во-вторых, о таких незавершенных стихах поэта, как «Восстань, о Греция, восстань!», «Зорю бьют», «Был и я среди донцов», «Опять увенчаны мы славой». Все эти стихотворения написаны в 1829 году, но при жизни Пушкина они не увидели света.

Почему же Пушкин медлил с обработкой и публикацией этих стихотворений и «Путешествия в Арзрум»? Потому, думается, что взгляды поэта расходились с правительственной точкой зрения не только на характер русско-турецкой войны, но и на вопрос об ее подлинных героях.

Правительственные круги и реакционная пресса, преследовавшие захватнические цели в войне, приписывали успехи русского оружия главнокомандующему Паскевичу. Мы знаем, что Николай I присвоил ему титул «графа Эриванского», а «шпионы-литераторы» пели дифирамбы этому «герою», трубя на все лады, что сей «искусный и осторожный и славою окрыленный полко-

водец», «как Александр и как Помпей может завоевать Азию и доставить России миллионы золота»[1].

Смотря на войну 1829 года не как на завоевательную затею, а как на средство освобождения народов от турецкого деспотизма и обеспечения государственных интересов России, Пушкин, как и декабристы, прекрасно понимал, что подлинными героями войны являются «люди 14 декабря» и солдатская масса, а не «граф Эриванский»[2].

Хорошо зная по личным наблюдениям и рассказам товарищей подлинное лицо аракчеевца Паскевича, его бездарность, тщеславие и мелочность, Пушкин презирал «этого глупейшего и счастливейшего из военных дураков», который присваивал заслуги декабристов в войне и их же преследовал, «как лютый зверь»[3].

Великий поэт не желал писать в фальшивом, «патриотическом» духе, а говорить правду о войне и о Паскевиче было рискованно и почти невозможно.

Пушкин хорошо знал о строгости цензуры, особенно военной. Пишущему о войне строго-настрого запрещалось отступать от официальных реляций. Нарушитель этого условия рисковал быть сурово наказанным.

Напомню, что вскоре после отъезда Пушкина с фронта, его близкий знакомый — декабрист Сухоруков был подвергнут аресту и ссылке за то, что осмелился выступить против официального корреспондента «Северной пчелы» И. Радожицкого со статьей о военных действиях (подробно об этом — ниже).

В особенно тяжелые условия был поставлен Пушкин. Его цензором и даже редактором был сам царь. Из статьи Т. Зенгер «Николай I — редактор Пушкина»[4]

---

[1] Корреспонденция И. Радожицкого в газете «Северная пчела», 1829, № 80.

[2] Характерно, что декабрист Цебриков первую же победу над персидскими войсками считал «чисто солдатским делом». (Сб. «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I, стр. 265.)

[3] А. А. Бестужев-Марлинский. Письмо Н. А. Полевому от 4 февраля 1832 г. («Литературный современник», 1934, № 11, стр. 140.)

[4] Литературное наследство, № 16—18, стр. 517—536.

мы узнаем, что «его императорское величество» приложил свою руку даже к отрывку из «Путешествия в Арзрум» — «Военно-Грузинская дорога», где ничего не говорилось о войне.

Положение осложнялось тем, что, как уже было указано, именно в 1829—1830 годах обострились отношения между Паскевичем и декабристами — друзьями поэта. По этим причинам и воздержался, очевидно, Пушкин от обработки и публикации «Путешествия в Арзрум» и других своих «военных произведений».

Между тем реакционные круги, начиная с 1829 года, настойчиво требовали от Пушкина воспевания Паскевича, как главного героя войны, и освещения «кампании 1829 года» в духе официальных реляций.

«Северная пчела» Булгарина и Греча еще 22 августа 1829 года поместила статью своего корреспондента И. Радожицкого из Арзрума, которая заканчивалась следующими словами:

«Дальнейшие подробности об Арзруме, ежели буду иметь время, сообщу вам в последующих письмах; но скажу вам, что вы можете ожидать еще чего-либо нового, превосходного от А. С. Пушкина, который теперь с нами в Арзруме».

Весьма любопытную позицию в отношении поэта занял Паскевич; он охотно согласился на приезд Пушкина в действующую армию, принял его очень ласково и оказал ему «лестное внимание»[1]. Пушкин, конечно, догадался о причинах такого «гостеприимства». Оно было вызвано теми же побуждениями, что и «гостеприимство» С. С. Стрекалова в Тбилиси. Кроме того, самовлюбленный главнокомандующий, охваченный манией величия, надеялся, что задобренный и обласканный им поэт не откажется воспеть его «подвиги».

«Внимание» главнокомандующего стало особенно невыносимым для Пушкина после занятия Арзрума, когда М. Пущин был отправлен Паскевичем в Тбилиси, а Раевский и другие декабристы — в поход. Прав-

---

[1] Акад. издание Пушкина, т. VIII, стр. 444—446; ср. Воспоминания А. Гангеблова, М. Пущина (Л. Майкова, «Пушкин», 1899) и др.

да, в Арзруме осталось еще несколько декабристов (Коновницын, Сухоруков и др.), но поэт был вынужден жить в обширном дворце сераскира, занятом Паскевичем, как бы в качестве гостя последнего. Пушкину приходилось посещать официальные обеды чванливого главнокомандующего, слушать его хвастливые речи и терпеть тягостный надзор.

Все это и заставило Пушкина, по свидетельству Н. Б. Потокского, выехать из Арзрума[1].

«Мне крайне было жаль расстаться с моими друзьями, — говорил поэт П. С. Санковскому, — но я вынужден был покинуть их. Паскевич надоел мне своими любезностями»[2].

Н. Б. Потокский, ссылаясь на Вольховского, утверждает, что у Пушкина произошло даже столкновение с Паскевичем. Последний еще во время похода, под предлогом опасения за жизнь поэта, требовал, чтобы тот находился неотлучно при нем. Это «всегда возмущало» Пушкина и «при первой возможности (он) скрывался от него».

«Вольховский передал мне, — пишет далее Потокский, — под секретом, еще то, что одною из главных причин неудовольствия главнокомандующего было нередкое свидание Александра Сергеевича с некоторыми из декабристов, находившимися в армии рядовыми. Говорили потом, что некоторые личности шпионили за поведением Пушкина и передавали свои наблюдения Паскевичу»[3].

Нет основания не верить этому свидетельству. Даже Е. Г. Вейденбаум, предполагавший, что сдержанный и осторожный Вольховский не сообщил бы столь серьезных вещей малознакомому юноше Потокскому, замечает: «Откуда бы, впрочем, ни заимствовал свои све-

---

[1] Сам Пушкин объясняет причину своего отъезда из Арзрума появлением в этом городе чумы и страхом сидения в карантине (VIII, 481). Но Е. Вейденбаум усомнился в правильности этого объяснения. (Е. Вейденбаум. Кавказские этюды, 1901, стр. 253.)

[2] «Русская старина», 1880, VII, стр. 582.

[3] Там же, стр. 583.

дения Потокский, в них есть доля истины. Потокский, повторяет то, что тогда говорили в армии»[1].

Сразу же по возвращении Пушкина в Петербург «Северная пчела» напомнила ему о его «обязанности» воспеть войну и Паскевича. Однако поэт не хотел выполнять «заказа гг. журналистов». Это было использовано реакционными кругами для травли Пушкина. На него с новой силой обрушились печатные органы Булгарина и Греча.

«Мы думали, — писал Булгарин, — что автор Руслана и Людмилы устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, — и мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый...»[2]

Это был, как правильно заметил Е. Вейденбаум, по тогдашнему времени уже прямой донос, недвусмысленное обвинение поэта в неблагонамеренности.

Оправдывая гнусное выступление Булгарина, Бенкендорф писал Николаю I: «Перо Булгарина, всегда преданное власти, сокрушается над тем, что путешествие за Кавказскими горами и великие события, обессмертившие последние года, не придали лучшего полета гению Пушкина»[3].

Недовольство выражал и «сам граф». Получив в 1831 году от В. А. Жуковского брошюру «На взятие Варшавы», состоящую из стихотворений Пушкина «Бородинская годовщина»[4], «Клеветникам России» и «Старой песни» Жуковского, Паскевич писал последнему: «Сладкозвучные лиры первостепенных поэтов наших долго отказывались бряцать во славу подвигов

[1] Е. Вейденбаум. Кавказские этюды, 1901, стр. 254.
[2] Газета «Северная пчела» от 22 марта 1830 г.
[3] «Старина и новизна», книга IV, стр. 7—8.
[4] В этом стихотворении, как известно, несколько строк посвящено Паскевичу.

оружия. Так померкнула заря достопамятных событий Персидской и Турецкой войн, и голос выспренного вдохновения едва-едва отозвался в отечестве в честь тогдашних успехов наших. Упрек сей впрочем не относится до вас, ибо и в ту эпоху вы обязали меня поэтическим вниманием»[1].

Упрек в нежелании «бряцать» во славу Паскевича в персидскую и турецкую кампании адресован, конечно, исключительно Пушкину. Весьма примечательно, что Паскевич в своем письме почти дословно повторяет только что приведенные слова Булгарина. Фельдмаршал и глава «шпионов-литераторов» критиковали великого поэта в одних и тех же выражениях.

Пушкин долго и упорно молчал.

Декабристы, по-видимому, догадывались о причинах «молчания поэта» и, не имея возможности выступить публично, выражали свое негодование против реакционных органов в личной переписке. Так, А. А. Бестужев-Марлинский в письме к Н. А. Полевому от 9 июня 1831 года пишет: «Много бы, много мог я сказать вам о подвигах наших в Персии и в Турции, но ограничусь только замечанием, что Пушкина напрасно упрекают за бесчувствие к славе русских»[2]. В 1835 году, в первоначальных черновых вариантах предисловия к «Путешествию в Арзрум» поэт сам дал отповедь реакционным журналистам: «Какое было им дело (думал я с досадою) до моих путешествий, и неужели непременно был обязан писать именно то, что прикажут (мне) журналисты?» (VIII, 1022)[3].

Однако в окончательный текст «Предисловия» Пушкин не включил этих слов, выдержав до конца линию пренебрежительного отмалчивания на нападки Булгарина и других журналистов.

Свое предисловие, предназначенное к изданию, поэт всецело направил против Виктора Фонтанье. Молчание было нарушено именно в связи с выступлением этого

---

[1] «Русский архив», 1875, книга III, стр. 460.

[2] «Русский вестник», 1861, март, стр. 301.

[3] Аналогичные мысли высказаны в «Отрывке» (VIII, 409 — 411) и в других произведениях Пушкина.

французского дипломатического агента. Ни одна брань русских журналистов не оскорбила Пушкина так сильно, как «похвала» Фонтанье, считавшего, что Пушкин написал сатиру на Арзрумский поход и на Паскевича.

«Я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание» (VIII, 444).

«Купеческий консул» своей «похвалой» по существу обвинил Пушкина «в неблагодарности» Паскевичу. Поэт решил издать свои записки о «кампании 1829 г.», чтобы опровергнуть это оскорбительное обвинение.

Так утверждает Пушкин.

Правильно ли это утверждение?

Нет, неправильно. Известно, и ниже мы в этом лишний раз убедимся, что в изображении «прославленного полководца» Паскевича Пушкин действительно прибегает к сатирическим приемам. Содержание «Путешествия в Арзрум» в этом отношении находится в явном противоречии с предисловием к нему.

Больше того, противоречие замечаем и в самом предисловии. Содержавшиеся в нем слова о том, что поэт ехал на войну не для «воспевания будущих подвигов», является косвенным ответом Паскевичу, упрекавшему Пушкина (в письме к Жуковскому) за то, что он отказался «бряцать» во славу его «подвигов». Иначе говоря, Пушкин своим произведением не опровергает, а скорее подтверждает то, что о нем писал Фонтанье.

Пушкина оскорбила книга французского дипломата по другой причине. В ней задевалась не столько честь русского поэта, сколько честь России вообще; в ней затрагивался вопрос, касающийся не только личности Пушкина и его взаимоотношений с Паскевичем, но России в целом. Если русские реакционные журналисты обвиняли Пушкина в нежелании петь гимны Паскевичу, то французский автор осудил Россию за борьбу против турецкой агрессии.

Как первое «Путешествие» (1829) Виктора Фонтанье, так и второе (1834) являлись не описанием впечатлений путешественника, а политическим выступлением агента французского правительства против «русской политики» на Востоке. Фонтанье призывал евро-

пейские державы к борьбе с растущей мощью и влиянием России и, кроме того, дискредитировал успехи русского оружия в борьбе с персидской и турецкой армиями.

Книги французского автора, написанные в сугубо агрессивном духе, были направлены против государственных интересов России и борьбы народов Закавказья с персидско-турецкими завоевателями.

В лице Фонтанье русский поэт увидел одного из тех «заморских клеветников», которые выступали за военную интервенцию против России. Пушкин, всегда превыше всего ставивший интересы родины, не мог не дать отпора антирусскому выступлению иностранного агента. Поэт «прервал молчание», опубликовав в первом же номере своего журнала («Современник» 1836 года) «Путешествие в Арзрум».

Перед автором «Путешествия в Арзрум» стояла трудная задача: надо было рассказать правду о «кампании 1829 года», о подлинных героях войны, и в то же время соблюсти требования цензуры. Как было указано, о военных событиях дозволялось писать только в духе реляций.

Пушкин гениально справился с задачей. В описании военных событий он использовал официальные донесения Паскевича Николаю I с русско-турецкого фронта. Копии этих донесений, полученные Пушкиным, по-видимому, на месте еще в 1829 году[1], хранились в архиве поэта и были опубликованы с соответствующими комментариями П. Поповым в первой книге «Летописи государственного литературного музея» в 1936 году.

Однако Пушкин следует реляциям главнокомандующего лишь внешне, формально, заимствуя из них хронологическую канву военных событий и отдельные факты. По существу же он создает произведение, диа-

---

[1] Донесение от 20 июня 1829 г. было отвезено в Петербург А. Л. Дадиани, с которым тогда же Пушкин послал письмо родным из Грузии. Донесение о поражении турецкой кавалерии было опубликовано в «Военном журнале» в 1829 году, № 5, стр. 214 — 237. Ответ Николая I Паскевичу см. в книге Щербатова «Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич», т. III, стр. 198 — 199.

метрально противоположное официальным документам и официальной точке зрения.

Донесения Паскевича отличались поразительным культом собственной персоны. Беспардонную ложь о своих «подвигах» он облекал в пышную форму. Самореклама главнокомандующего, его хвастовство были поистине безграничны. Читая громкие реляции «графа Эриванского», можно подумать, что он — причина причин всех побед на русско-турецком фронте. «Пришел — увидел — победил». Нет ни талантливых военачальников, ни храбрых воинов, а есть только единственный герой — Паскевич — «бог войны», триумфально едущий в своей колеснице.

Вот характерные отрывки из донесений Паскевича:

«Предприятие мое увенчалось полным успехом; я ныне произвел сие важное движение совершенно благополучно».

«Турки, изумленные нечаянным моим появлением на дороге, по которой вовсе не ожидали нас, усугубили со своей стороны меры осторожности».

«Вашему императорскому величеству имею счастье донести о совершенном разбитии турецкой армии... первый корпус из 30 тыс., состоявший под начальством самого сераскира, обращенный в бегство, загнал я за Саганлугские горы».

«Сим важным приобретением (взятием Арзрума. — **В. Ш.**), совершившимся без всякой потери с нашей стороны, как необходимое последствие одержанной мною 19-го и 20-го числа победы и быстрого преследования, я стал твердою ногою на челе Арзрума».

В таком духе написаны почти все донесения Паскевича. Это и не удивительно. Из воспоминаний современников знаем, что граф ставил себя чуть ли не выше Александра Македонского и Наполеона, серьезно доказывая, что египетская экспедиция Бонапарта «не выдерживает сравнения с его последней кампанией». В таком же духе курила фимиам этому «полководцу», как известно, реакционная пресса, называя его «русским Ахиллесом».

Совершенно иное отношение проявил к Паскевичу Пушкин. Взгляды поэта и декабристов совпадали и в

этом вопросе: они противопоставляли Паскевичу Ермолова.

Декабристам, конечно, было известно, что Николай I не доверял популярному в передовых кругах Ермолову и потому заменил его реакционером Паскевичем, который бесцеремонно присваивал себе военные заслуги героев 14 декабря и в то же время жестоко их преследовал.

Я. И. Костенецкий, сосланный на Кавказ в 1833 году за участие в тайном обществе (кружок Сунгурова), вспоминал: «Когда я прибыл на Кавказ, меня необыкновенно удивило то очень невыгодное мнение о князе Паскевиче, какое имели о нем знавшие его офицеры... Паскевич не расположил к себе всех бывших сосланных на Кавказ декабристов, на которых он взглянул не сострадательным, а начальническим оком»[1].

«Невыгодное мнение» о Паскевиче вообще широко было распространено среди декабристов. Один из них писал: «Нет подлее, гнуснее и омерзительнее в мире мерзавца, канальи и людоеда, как Паскевич — урод и чудовище; сам дьявол красавцем покажется против него»[2].

«За неволю теперь вспоминаем Ермолова», — сообщал А. А. Бестужев-Марлинский Н. А. Полевому»[3].

Бывший «проконсул Кавказа», находившийся тогда в опале, казался светлой личностью по сравнению с любимцем царя Паскевичем. Последний был символом черной реакции, Ермолов — «вольнодумческой оппозиции». В отношении к этим двум генералам в известной мере проявлялось отношение к царской политике. Поэтому уяснение позиции Пушкина в этом вопросе имеет важное значение.

Всецело разделяя взгляды своих друзей-декабристов, Пушкин горячо сочувствовал опальному Ермолову и ненавидел Паскевича.

Пушкин, как видно, был в курсе кавказских дел и

---

1 «Русская старина», 1900, ноябрь, стр. 450.

2 Избранные соц.-политические и философские произведения декабристов, т. III, стр. 226.

3 «Литературный современник», 1934, № 11, стр. 138.

хорошо знал, почему Ермолов был заменен Паскевичем после событий 14 декабря.

«Видел ли ты Ермолова, и каково вам после его?» (XIII, 330), — запрашивал поэт брата Льва Сергеевича 18 мая 1827 года, то есть через пять дней после отъезда Ермолова из Тбилиси.

И вот, направляясь в лагерь Паскевича в 1829 году, Пушкин делает двести верст лишних, чтобы посетить Ермолова, жившего тогда «на покое» в Орле. Самый факт этого свидания поднадзорного поэта с опальным генералом и описание встречи, которым открывается «Путешествие в Арзрум» и которое в свое время не могло быть опубликовано, проливает яркий свет на интересующий нас вопрос.

Встреча произвела на обоих неизгладимое впечатление.

«В первый раз не знакомятся коротко, — писал после этого свидания Ермолов Денису Давыдову, — но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения»[1].

Пушкин с любопытством всматривался в суровые черты лица своего собеседника.

«Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка не приятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом» (VIII, 445).

Предвидя, что это свидание могло вызвать у властей подозрение, Пушкин спешит предупредить: «О правительстве и политике не было ни слова».

Однако, как правильно заметили исследователи, само описание этой встречи является лучшим опровержением такого заявления. Из «Путешествия в Арзрум» узнаем, что беседа, продолжавшаяся более двух часов, касалась русско-турецкой войны и Паскевича, монархической концепции Карамзина — историка и политических записок Курбского, «славы и могущества» русского народа и немецкого засилия в России, убитого Гри-

---

1 «Старина и новизна», кн. XXII, стр. 38 — 39.

боедова и управления Кавказом... Все это, конечно, не что иное, как настоящая политика.

Пушкин заметил, что Ермолов «пишет или хочет писать свои записки». Следует указать, что поэт с нетерпением ждал появления этих записок в печати. Но ожидания не оправдывались, и потому Пушкин обратился в апреле 1833 года с письмом непосредственно к Ермолову, напоминая о записках и предлагая свои услуги в качестве издателя. «Если ж, — писал он в черновике, — Ваше равнодушие не допустило Вас сие исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимейшие сведения и ets» (XV, 58)[1].

Примечательный факт: поэт, упорно не желавший писать о «подвигах» всесильного Паскевича, свидетелем которых был лично, не менее упорно хочет написать историю ермоловских походов на Кавказе.

Но в данном случае для нас особенно интересно осуждение Пушкиным царской политики в отношении Ермолова и противопоставление этого полководца Паскевичу.

Вслед за описанием внешности Ермолова поэт сообщает:

«На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он по-видимому нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно, говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл гр[афа] Эриванского графом Ерихонским» (VIII, 445).

Паскевич критикуется Пушкиным в разных местах очерка в иносказательной форме. Пушкинские «лукавые» приемы хорошо показаны в работе Ю. Тынянова о «Путешествии в Арзрум».

Мы видели, что в первой главе «Путешествия» Па-

---

[1] Неизвестно, было ли отправлено это письмо адресату. «Записки» А. П. Ермолова были изданы в 1863 году и переизданы в 1865 — 1868 гг. в двух томах. Любопытно, что и Лермонтов намерен был написать роман о кавказских войнах времен Ермолова.

скевич, как стратег, осуждается от имени Ермолова. Далее, в предисловии к своему произведению, Пушкин, представляясь сугубо штатским человеком, не разбирающимся в военных вопросах, делает ряд критических замечаний чисто военного характера. Так, во втором варианте предисловия читаем: «Я не вмешиваюсь в военные суждения: это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-Лу, движение, коим граф Паскевич отрезал Сераскира от Османа-Паши; поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток; быстрый поход к Арзруму; **углубление нашего пятнадцатитысячного войска в неприятельскую землю на расстоянии пятисот верст, оправданное полным успехом;** все это, может быть, в глазах военных людей, чрезвычайно забавно» (VIII, 1026. Подчеркнуто мною. — **В. Ш.**).

Приготовляя предисловие к печати, Пушкин подчеркнутую фразу изъял, а последнюю фразу переработал, направив ее против Фонтанье: «...Может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье, автор Путешествия на Восток)» (VIII, 444).

В выброшенной фразе, по справедливому замечанию Ю. Тынянова, содержалось резкое осуждение стратегического плана Паскевича, снарядившего после занятия Арзрума в глубь вражеской территории — в Бейбурт — экспедицию под командованием И. Г. Бурцова. Этим самым Паскевич погубил талантливого военачальника — декабриста Бурцова и чуть не обрек на разгром все войско. Об этом довольно откровенно говорит Пушкин в конце своего «Путешествия», указывая, что «это происшествие могло быть гибельно для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче» (VIII, 482).

Пушкин показывает Паскевича, вопреки утверждениям его биографа Щербатова, не как крупного военачальника и «неустрашимого» главнокомандующего, а как бездарного графомана. Насколько позволяла цензура, поэт изобразил Паскевича с тонкой иронией. Имя

Паскевича почти везде заменено титулом «граф». Над новоиспеченным графом (в графское достоинство Паскевич был возведен в 1828 году) иронизировал не только Ермолов, называвший его «графом Ерихонским», но и Пушкин. Частое повторение этого титула в «Путешествии» имеет явно иронический смысл.

Пушкин заостряет внимание на таких качествах Паскевича, которые его характеризуют как придворного угодника, а не полководца и героя войны.

«25 июня, в день рождения государя императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму» (VIII, 474).

Паскевич приурочил поход к этому дню, конечно, не из военно-стратегических, а из угоднических соображений[1].

Характерно, что Пушкин, давший яркий портрет опального Ермолова, ничего не говорит о внешних чертах Паскевича.

Естественно, что «Путешествие в Арзрум» не могло удовлетворить ни Паскевича, ни его панегириста Булгарина. Появление этого произведения в «Современнике» вызвало их новые нападки на великого поэта. В рецензии на первую книжку «Современника» Булгарин писал: «Есть ли что-нибудь в «Путешествии в Арзрум»? Виден ли тут поэт с пламенным восторгом, с сильною душою? Где гениальные взгляды, где дивные картины, где пламень? И в какую пору был автор в этой чудной стране! Во время знаменитого похода! Кавказ, Азия и война! Уже в этих трех словах есть поэзия, а «Путешествие в Арзрум» есть не что иное, как холодные записки, в которых нет и следа поэзии. Нового здесь — известия о тифлисских банях; но люди, бывшие в Тифлисе, говорят, что и это не верно»[2].

Точно такую же оценку дал «Путешествию» и Паскевич, заявив Ник. Павлищеву, что в этом произведении поэта «интересного ничего нет». «Фельдмаршал

[1] «Летописи Гос. лит. музея», т. I, стр. 209.
[2] «Северная пчела», 1836, № 129.

ожидал найти в нем что-нибудь посерьезнее о своих действиях против турок», — писал Павлищев[1].

Паскевич не мог простить Пушкину его «преступления». Недоброжелательство к поэту он сохранил надолго. В этом отношении весьма показательна переписка Николая I с Паскевичем. Вскоре после гибели Пушкина царь сообщил своему «отцу и командиру»: «Здесь все тихо и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же писанную»[2]. В своем ответе императору Паскевич постарался лишний раз очернить Пушкина, заявив, что человек он «был дурной»[3].

В «Путешествии в Арзрум» и в военно-патриотических стихах Пушкина подлинными героями войны показаны храбрая русская армия, декабристы и лучшие сыны закавказских народов.

Декабристам, сосланным на Кавказ, как известно, принадлежала исключительная роль в борьбе с восточной агрессией. Но заслуги этих наиболее талантливых и храбрых героев замалчивались в официальных донесениях и присваивались Паскевичем; больше того, о них вообще запрещалось писать.

Несмотря на это, Пушкину все-таки удалось ввести в свое «Путешествие» тему героизма декабристов, рассказать о них в замаскированной, но для сведущих людей в довольно прозрачной форме. В последних главах «Путешествия», посвященных описанию военных событий, почти на каждой странице встречаем декабристов, игравших решающую роль в кампании 1829 года.

Благодаря удачным действиям декабриста Бурцова, как сообщает Пушкин, был совершен смелый переход через Саган-Лу. «Мы благополучно прошли опасное ущелие, и стали на высотах Саган-Лу в 10 верстах от неприятельского лагеря» (VIII, 467).

---

[1] «Исторический вестник», 1888, февраль, стр. 300.

[2] «Русский архив», кн. I, 1897, стр. 19.

[3] Известия отделения русского языка Акад. наук, кн. I, 1896, стр. 66.

Пушкин был свидетелем «жаркого дела» на левом фланге, где Бурцов проявил чудеса храбрости и стойкости. Рассказывая об этом, поэт пишет:

«Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли» (VIII, 469).

Н. Н. Раевский рисуется в «Путешествии» как один из талантливых и находчивых военачальников. Именно Раевский, Вольховский и Пущин появляются всегда в самые нужные моменты в самых опасных местах фронта и обеспечивают успех дела. На поле битвы, в гуще жарких боев то и дело мелькают эти фигуры, рисуемые Пушкиным двумя-тремя штрихами.

Вот турки обходят русское войско, отделенное от них глубоким оврагом, и поэт видит, как М. Пущин под градом турецких пуль скачет на коне к оврагу, от осмотра которого зависел последующий ход сражения (VIII, 469).

После одного из боев Раевский нагнал Пушкина. «Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее» (VIII, 470).

«Потом В[ольховский] проскакал с тремя пушками» (VIII, 471).

Несмотря на то, что в «Путешествии в Арзрум» даются как бы мимоходом нарисованные силуэты декабристов, мы чувствуем, что именно они являются подлинными организаторами побед.

Но в «Путешествии в Арзрум» показан не только героизм деятелей 14 декабря. Пушкин знал, что в борьбе с восточной агрессией русские войска получали действенную помощь со стороны закавказских жителей. Поэт собственными глазами видел, как плечом к плечу с русскими солдатами и офицерами воевали лучшие сыны армянского, грузинского и азербайджанского народов.

Описывая лагерную жизнь, Пушкин замечает: «Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находи-

лись и народы закавказских наших областей и жители земель недавно завоеванных» (VIII, 468).

Во время пребывания Пушкина на фронте там было много грузинских воинов, солдат и офицеров. Только в рядах одного Нижегородского полка находились: старший офицер Г. Баратаев (Бараташвили), эскадронные командиры Шаншиев (Шаншиашвили) и Сулханов (Сулханишвили), младшие офицеры Чиляев (Чилашвили), А. Эристов (Эристави), Цинамдзгваров (Цинамдзгвришвили), Шаликов (Шаликашвили), Пиралов (Пиралишвили), Авалов (Авалишвили), Павленов (Павленишвили), Ясон, Спиридон, Григорий и Роман Чавчавадзе...[1] Со многими из них Пушкин, конечно, мог познакомиться во время своего продолжительного пребывания в Нижегородском полку. Видимо, фронтовые наблюдения дали ему основание заявить, что «грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами» (VIII, 457).

В этой связи следует напомнить строки из знаменитого стихотворения Пушкина «Клеветникам России», выражающие уверенность, что в защиту России встанут огромные массы от «Перьми до Тавриды, от Финских хладных скал до пламенной Колхиды». Эта замечательная фраза свидетельствует о глубоком понимании Пушкиным нерушимого братства русского, грузинского и других народов, скрепленного совместно пролитой кровью на фронтах борьбы против общих врагов.

Таким образом, поездка А. С. Пушкина на фронт и его творческие отклики на события русско-турецкой войны 1828 — 1829 годов свидетельствует о том, что, несмотря на строгие цензурные условия, поэт смог путем применения различных «лукавых» приемов рассказать правду о походе, о подлинных героях войны, в противовес той лжи и фальши, которую распространяли правительственные круги и реакционная пресса.

---

[1] См. В. Потто. «История 44-го драгунского Нижегородского полка», т. II.

4

Теперь об отражении грузинской действительности в «Путешествии в Арзрум». Этого вопроса касались многие исследователи. Об отдельных темах, нашедших освещение в путевом очерке Пушкина, будет сказано в последующих главах. Здесь же ограничусь некоторыми замечаниями, поделюсь результатами новых разысканий и наблюдений, которые могут расширить и уточнить представление об изображении грузинской жизни в «Путешествии» и об источниках этого произведения.

Уже не раз отмечалось, что Пушкин, как и декабристы, был сторонником присоединения Кавказа к России. В то же время царизм с совершенно противоположных позиций боролся за «покорение Кавказа».

Царизм осуществлял на Кавказе, как мы знаем, жестокую феодально-хищническую политику; он огнем и мечом покорял кавказские народы, безжалостно грабил и разорял население, притеснял и душил культуру, держал народы в темноте, разжигал рознь.

Такая политика, соответствовавшая интересам русских помещиков, купцов и чиновников, не только не способствовала сближению кавказских народов с Россией, но, наоборот, мешала их мирному сожительству; больше того — она оказывалась выгодной правящим кругам Персии и Турции, стремившимся оторвать Кавказ от его северного соседа и обеспечить свое господство.

Пушкин и декабристы, напротив, исходили из интересов России и из интересов кавказских народов, которые только в союзе с Россией, как с сильным централизованным государством, могли обеспечить себе мирное существование и только в содружестве с русским народом, приобщаясь к его великой культуре, могли двигаться вперед по пути прогресса. Отсюда, во-первых, осуждение Пушкиным, Грибоедовым, декабристами царской политики на Кавказе и, во-вторых, глубокий интерес к жизни и культуре кавказских народов, уважение к ним и сочувствие, стремление к союзу и дружбе с ними, забота о подъеме их экономической и культурной жизни, борьба против азиатского феодально-патриархального уклада жизни, желание ознако-

мить Россию с бытом, историей и культурой кавказских народов.

Рассматривая с этой точки зрения «Путешествие в Арзрум», следует отметить, что в нем, несмотря на строгость цензуры, Пушкину удалось разоблачить царскую политику на Кавказе. Страницы «Путешествия» пестрят критическими отзывами о военной и административной деятельности царских властей. Поэт на каждом шагу видит печальные результаты негодных методов управления краем.

Вспомним иронические замечания Пушкина о крепостях со рвом, «который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь, с ржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока» (VIII, 448).

Рассказывая о бедности осетинского племени, об изодранных чадрах осетинок, поэт пишет, что во Владикавказе он видел черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. «Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки» (VIII, 450).

Это место до того кололо глаза своей правдой, что Николай I, прочитав отрывок («Военно-Грузинская дорога») в рукописи, зачеркнул его[1].

Вспомним также разбросанные в очерке другие критические замечания поэта: описание грязных дорог, рассказ о ночлеге в Душети у городничего, проклятие «гостеприимству» губернатора Стрекалова и т. д.

Пушкин довольно откровенно пишет, что царские чиновники приезжали в Грузию вовсе не для того, чтобы заботиться о нуждах населения. Нет, «молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским, толико вожделенным». В «Путешествии» нарисована колоритная картина: на площадях, где тес-

[1] См. Т. Зенгер. «Николай I — редактор Пушкина» (Литературное наследство, № 16 — 18, стр. 517 — 536).

нятся местные жители, эти чиновники гордо разъезжают «верхом на карабахских жеребцах» (VIII, 458—459).

Напомню, что аналогичные отзывы о царских чиновниках и офицерах, приезжавших на Кавказ и ничего не делавших для познания и преобразования края, содержатся и в произведениях и в письмах Грибоедова, Марлинского и других.

Пушкин хорошо видел, что царская администрация притесняла и грабила местное население, что оно находилось в бесправии, нищете и темноте. Чадры у осетинок «изодранные»; в армянской деревне женщины — в пестрых лохмотьях. «Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями» (VIII, 459).

Критикуя царскую политику на Кавказе, с одной стороны, и азиатскую патриархальщину — с другой, Пушкин, подобно Корниловичу, Марлинскому и другим декабристам, предпочитал в русско-кавказском вопросе меры экономического и культурного воздействия.

Пушкин уверен, что не террористическая политика, а «новые потребности», торговля и просвещение, живая проповедь «истины» мало-помалу сблизят кавказцев с русскими. В рассуждениях поэта сказывались и антиправительственные настроения, и ограниченность дворянско-просветительного мировоззрения.

Стремясь к союзу и сотрудничеству русского и кавказских народов, Пушкин добросовестно и благожелательно изучает и освещает «местную жизнь». Его интересует все: природа Кавказа, его география и этнография, жизнь, обычаи и нравы населения, история и культура народов, их настоящее и будущее, их фольклор и язык.

«Путешествие в Арзрум» — это образец реалистической прозы, в котором автор предельно кратко, точно и удивительно правдиво-ярко показывает и рассказывает о виданном и слышанном. Перелистывая «Путешествие» страницу за страницей, мы видим, как, быстро сменяясь, проходят верные художественно-выра-

зительные картины природы и быта людей Кавказа и Закавказья.

Тут и драматический эпизод похорон в осетинском ауле, и трагическая сцена встречи с прахом Грибоедова, и колоритные портреты Физил-хана и Хозрев-Мирзы, с которыми Пушкин встретился на Военно-Грузинской дороге, и сообщение о знакомстве с «любезным» Чиляевым (Чилашвили), и рассказ о трусливом иностранном консуле, завязавшем себе глаза при переходе через Крестовую гору, и описание жизни обитателей нищих деревень.

Пушкин интересуется историей Грузии, памятниками ее культуры. Хорошо ориентируясь в научной литературе по Кавказу, поэт опровергает ошибочное мнение о происхождении слова «Дариал».

«Против Дариала, — пишет он, — на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелью: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен, и проч.[1]. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы» (VIII, 451—452).

Из Дарьяла Пушкин отправляется в Казбеги, где происходит его встреча с владетелем этого села.

«Деревня Казбек, — пишет Пушкин, — находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и нечище русских). В дверях лежал пузатый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре

---

[1] Любопытно, что аналогичное толкование этого вопроса дается в «Письме к доктору Эрману» и в «Аммалат-Беке» Бестужева-Марлинского.

ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями» (VIII, 452).

Н. Б. Потокский, юный попутчик Пушкина, описывает эту встречу подробнее и немного иначе: «Проезжая сел. Казбек, — рассказывает он, — остановились здесь для перемены лошадей, а пока разбрелись по деревушке... В самом селении Казбек находится также замечательная по архитектуре небольшая церковь; здесь первое грузинское селение. Обходя церковь, мы увидели... молодого горца красивой наружности, с русыми волосами и голубыми глазами, чисто одетого в черкеску. Пушкин первый подошел к нему и сделал вопрос по-русски: чья это деревня? Тот ответил чистым русским языком: «моя», — и гордо окинул всех нас своими прекрасными глазами; разговаривая с ним, мы узнали, что этот молодой человек был владелец вышеупомянутого селения князь Михаил Казбек. На вопрос Александра Сергеевича, — почему он не едет в армию, где получил бы скоро чин, — Казбек ответил ему: «Знаете, господин, умрет и прапорщик и генерал одинаково, не лучше ли сидеть дома и любоваться этой картиной», — указывая рукой на горы. «Да, ваша правда, князь, — добавил Александр Сергеевич. — Если бы эта деревня была моя, и я бы отсюда никуда не поехал». Впоследствии князь Казбек вступил в службу и дослужился до генерала. Нередко я напоминал ему о нашей первой встрече»[1].

Несколько слов о личности Мих. Казбеги. Он был отцом известного классика грузинской литературы Александра Казбеги.

«Михаил Казбеги долгое время служил начальником горного округа (Хеви и Мтиулети). Все жители округа подчинялись и служили ему, как владетелю»[2]. Он был жестоким правителем, за что его осуждал даже родной

---

[1] «Русская старина», 1880, VII, стр. 579.

[2] См. Д. Каричашвили, биография Ал. Казбеги. (Соч. Казбеги, 1904, стр. I — II, на груз. яз.); Л. Асатиани. «Пушкин и грузинская культура», 1949, стр 13.

сын. Местные крестьяне нередко восставали против этого феодала-генерала[1].

По свидетельству современников, Мих. Казбеги отличался гостеприимством. Его большой барский дом в селении Казбеги (превращенный сейчас в краеведческий музей) был всегда полон гостей. Он считал «смертным грехом» не пригласить в свой дом каждого «большого человека», проезжавшего через «его село». Такова личность первого грузина, с которым познакомился Пушкин, вступив на грузинскую землю.

24 мая Пушкин и его попутчики остановились на ночлег в Коби. «Пост Коби, — пишет Пушкин, — находится у самой подошвы Крестовой горы, через которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами? На всякий случай, я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к г. Ч[иляеву], начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать, в ожидании подвод» (VIII, 453).

До нас дошел черновик этого письма, написанного 24 мая 1829 года. В нем сказано: «Несколько путеше[ственников], след[ующих] по каз[енной] надоб[ности], находятся здесь в самом затрудн[ительном] положе[нии] и зная по слухам Вашу снисходитель[ность], решились прибегнуть к Вашему покрови[тельству].

Сделайте милость послать к старш[ине] ароб[щиков]. О сем просят убедительнейше арт[иллерии] под[полковник] Бауман, гр[аф] Му[син]-Пушкин и я.

Примите» (XIV, 45).

Описывая далее переход через Крестовый перевал, Пушкин в своем очерке сообщает:

«Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Ч[иляева]. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее» (VIII, 454).

---

[1] Это нашло отражение и в местном фольклоре; см. Сборник мохевских народных песен (Тбилиси, 1938) и книгу С. Макалатия «Хеви», 1934 (на груз. яз.).

Речь идет о Борисе Гавриловиче Чиляеве (Чилашвили). Он и его братья с детства воспитывались в России. Их отец, занимавший у царевича Вахтанга должность милахвара (шталмейстера), в 1803 году со всей семьей выехал из Грузии в Петербург вместе с высланным царевичем. В столице братья Чилашвили получили прекрасное образование и завязали живое общение с передовыми литературными кругами.

Старший из братьев, Егор Чилашвили (1792—1838), известен как ученый, поэт и переводчик французских просветителей Монтескье и Мабли. С начала двадцатых годов он занимал пост прокурора Верховного грузинского правительства, вел большую работу по реформе судопроизводства. Когда Е. Чилашвили был снят с этой должности и находился в нужде, об облегчении его участи хлопотал А. С. Грибоедов[1].

Особенно интересен своими литературно-общественными связями Борис Гаврилович Чилашвили (1798—1850). Случилось так, что учеба и служба его в Петербурге протекали в окружении декабристов. Он воспитывался в Горном кадетском корпусе вместе с А. А. Бестужевым, затем с 1815 года служил в лейб-гвардии Финляндском полку одновременно с М. Ф. Митьковым, Н. П. Репиным, А. Е. Розеном и другими участниками тайных обществ.

В Петербурге братья Чилашвили, по-видимому, были вхожи в дом Бестужевых. А. А. Бестужев писал матери с Кавказа 13 апреля 1837 года о Борисе Чилашвили, как о знакомом человеке. Имя этого «старого однокашника» Бестужева-Марлинского часто встречается и в других письмах писателя-декабриста (к Н. А. Полевому в 1833 г., к брату Павлу 20 мая 1837 г. и т. д.).

После разгрома декабристов, среди которых у Б. Чилашвили было много друзей, он не захотел оставаться в столице и подал прошение о переводе на Кавказ. Здесь он участвовал в русско-персидской войне, после чего был назначен правителем горских народов по Военно-Грузинской дороге с местопребыванием в Квешети.

---

[1] См. письмо Грибоедова к Паскевичу от 3/XII 1828 г.

Один из документов — «Записка о горских народах по Военно-Грузинской дороге», принадлежащая перу Б. Чилашвили[1], — характеризует его как передового человека, смело выступавшего против притеснения горской бедноты.

В Квешети у Бориса Чилашвили останавливались почти все добровольные и недобровольные гости Грузии, проезжавшие по Военно-Грузинской дороге. 3 июля 1828 года он принимал у себя А. С. Грибоедова, а в следующем году — А. С. Пушкина.

Выясняется, что и на обратном пути Пушкин побывал у Бориса Чилашвили. Об этом узнаем из письма А. А. Бестужева, ехавшего тогда из Сибири в Грузию.

«Я, — пишет Бестужев Н. А. Полевому, — сломя голову скакал по утесам Кавказа, встретя его [Пушкина] повозку; мне сказали, что он у Бориса Чиляева, моего старого однокашника, ему дали провожатого по новой околесной дороге, так что он со мной и не встретился!.. Я рвал на себе волосы с досады, — сколько вещей я бы ему высказал, сколько узнал бы от него!»[2]

Так, в скромном домике Бориса Чилашвили, затерянном в лабиринте кавказских гор, происходили самые неожиданные встречи выдающихся людей России и Грузии, ученых и писателей, разжалованных героев 14 декабря. Можно представить, «сколько вещей» тут было высказано «государственными преступниками» и «прикосновенными», и слушателем каких рассказов был «любезный хозяин», которого современники характеризуют, как человека образованного, доброго, благовоспитанного и остроумного[3].

Следует отметить, что и младший брат Бориса Чилашвили — Сергей (1803 — 1864) имел живое общение с декабристскими кругами. Он воспитывался в кадетском корпусе, откуда вышел в 1817 году юнкером и вступил в лейб-гвардии Финляндский полк, но с 1820

---

1 См. «Акты», т. VII.

2 «Русский вестник», 1861, № 4, стр. 436.

3 См. письма к нему разных кавказских деятелей, опубликованные Б. Л. Модзалевским («Русский архив», 1904, т. I, стр. 115 — 174).

года был зачислен в Нижегородский драгунский полк, стоящий в Кахетии. В 1826 — 1829 годах С. Чилашвили участвовал в русско-персидской и русско-турецкой войнах, а позже и в борьбе против Шамиля.

Из дошедших до нас документов о декабристских связях Сергея Чилашвили особенно важными являются два: его письмо к опальному Н. Н. Раевскому от 22 сентября 1830 года[1], свидетельствующее о весьма теплых и дружеских отношениях между ними, и характеристика С. Чилашвили, содержащаяся в «Памятных записках» Петра Бестужева.

«Он грузин по происхождению, — писал П. А. Бестужев, — но искренне желал бы я, чтобы мое отечество имело более таких пасынков»[2].

Сергей Чилашвили служил в Нижегородском драгунском полку, командиром которого был Н. Н. Раевский. С последним, как известно, А. С. Пушкин жил в одной палатке в 1829 году, во время похода на Арзрум. Исследователи не без основания полагают, что тогда Сергей Чилашвили встречался и с Пушкиным.

Пушкин сообщает, что через Крестовый перевал он ехал «с полковником Ог[аревым], осматривающим здешние дороги» (VIII, 453).

Надо полагать, что это тот самый инженер Огарев, который с давних пор руководил работами на Военно-Грузинской дороге и у которого во Владикавказе еще в 1818 году останавливался сосланный на Кавказ поэт-бунтарь А. А. Шишков — приятель Пушкина. «Провел очень приятное время в кругу почтенного семейства инженера-капитана О[гарева]», — писал Шишков, тепло отзываясь о «гостеприимстве и образованности» хозяина[3].

В том же году А. С. Грибоедов, описывая в своих «Путевых записках» Дарьяльское ущелье, говорит о «нападение на Огарева»[4]. Судя по всему Грибоедов

---

[1] См. Архив Раевских, 1909, т. II, стр. 11—14.
[2] Воспоминания Бестужевых, 1951, стр. 364.
[3] Сочинения и переводы капитана А. А. Шишкова, 1834—1835, т. I, стр. 129.
[4] Грибоедов. Сочинения, 1945, стр. 383.

был в приятельских отношениях с Огаревым. Во время ареста автора «Горя от ума», в 1826 году, выяснилось, что два его чемодана хранились у Огарева во Владикавказе. Любопытное сообщение встречается также в «Воспоминаниях о 1826 годе» поэта-партизана Д. В. Давыдова. Рассказывая о своей поездке в Закавказье для участия в русско-персидской войне, Давыдов пишет:

«В Владикавказе я оставил свою коляску и 30-го числа (августа. — **В. Ш.**) выехал с Грибоедовым в двухместных дрожках, коими одолжил нас до первой станции майор Николай Федорович[1] Огарев»[2].

Особенно интересно письмо Грибоедова к Паскевичу от 6 сентября 1828 года. «У меня, — пишет Грибоедов, — к Вам целые томы просьб, но беспокою Вас только одною в пользу бедного Огарева, которому существовать нечем. $1^1/_2$ года тому назад угнаны у него лошади хищниками. Он несколько раз домогался выдачи из казны ему за это какого-нибудь пособия... Прикажите, В[аше] С[иятельство], принять в уважение его заслуги, честность и бедность»[3].

Имея столь близкие и теплые отношения с Грибоедовым, Шишковым и другими знакомыми и приятелями Пушкина, Огарев, должно быть, много рассказывал о них великому поэту во время совместного путешествия, но в произведении, к сожалению, ничего об этом не сообщается.

Пушкин восхищается живописной панорамой Военно-Грузинской дороги, светлой долиной, «орошаемой веселой Арагвой». В то же время поэт с живым интересом рассматривает памятники материальной культуры. «Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх» (VIII, 454). В Мцхете, — рассказывает Пушкин, — мы «переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов» (VIII, 455).

---

[1] В других документах он — Гаврилович.
[2] Грибоедов в мемуарах современников, 1929, стр. 101.
[3] Грибоедов. Сочинения, 1945, стр. 540.

Автор «Путешествия в Арзрум» особенно близко познакомился с Грузией и ее богатой культурой по прибытии в Тбилиси, где он провел две недели в ожидании разрешения на выезд в действующую армию.

Пушкин дал замечательное описание столицы Грузии, ее архитектуры, климата, быта, нравов, проявив при этом свойственную ему наблюдательность в передаче живых впечатлений и картин.

Описывая местоположение Тбилиси — «на берегах Куры, в долине, окруженный каменистыми горами», — поэт разъясняет и причины тбилисских «нестерпимых жаров» и этимологию названия города («Тбилис — Калар»[1], — пишет Пушкин, — значит «Жаркий Город») (VIII, 458).

Рассказывая историю присоединения Грузии к России, поэт пишет о храбрости грузин: («Они доказали свою храбрость под нашими знаменами», VIII, 457).

Очень важно признание Пушкина: «В Тифлисе пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом» (VIII, 457). Видно, поэт познакомился с грузинской интеллигенцией основательно, в результате чего пришел к выводу: «Они вообще нрава веселого и общежительного... Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово; она кажется сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

> Душа, недавно рожденная в раю! Душа созданная для моего счастья! От тебя, бессмертная, ожидаю жизни.
>
> От тебя, весна цветущая, от тебя, Луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.
>
> Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром; хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.
>
> Горная роза, освеженная росою! Из-

---

[1] Должно быть — Тбили калаки.

бранная любимица природы! Тихое потаенное сокровище! От тебя ожидаю жизни» (VIII, 457—458).

В советское время выяснено[1], что стихотворение принадлежит Дмитрию Туманишвили (умер в 1821 г.) и называется «Ахало агнаго». В архиве Пушкина сохранился грузинский его текст и дословный перевод на русский язык под заглавием «Весенняя песня». На обороте листка Пушкин карандашом нарисовал профиль грузинки в национальном головном уборе, наброски мужского профиля и около них написал букву «Н». Возможно, поэт набросал профиль того, кто ему перевел песню. Из семи строф стихотворения Пушкин в «Путешествии в Арзрум» приводит наиболее характерные четыре, причем в своей собственной обработке.

В свое время было высказано предположение, что в профиле грузинки Пушкин попытался изобразить ту женщину, в исполнении которой слышал песню[2]. Вполне возможно, хотя вероятнее, что поэт не раз слышал «Ахало агнаго» в различном исполнении за время своего двухнедельного пребывания в Тбилиси, когда, по свидетельству современника, «всякий, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед»[3]. Во всяком случае, нет сомнения, что Пушкин слушал «Ахало» на празднестве, устроенном в его честь тбилисской интеллигенцией в окрестностях города, в Ортачальских садах.

Описывая это празднество «в европейско-восточном вкусе», один из его организаторов, К. И. Савостьянов, сообщает:

«Тут собрано было: разная музыка, песельники, танцовщики, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии. Весь сад был освещен разноцветными фонарями и восковыми свечами на листьях

---

1 См. работы Г. Леонидзе (в грузинском журнале «Картули мцерлоба», 1929, № 8 — 9), Л. Б. Модзалевского и В. Д. Дондуа («Временник», 1936, № 2).

2 «Временник», 1936, № 2, стр. 298.

3 Из воспоминаний К. И. Савостьянова «Пушкин и его современники», выпуск XXXVII, 1928, стр. 146.

деревьев, а в середине сада возвышалось вензелевое имя виновника праздника. Более 30 единодушных хозяев праздника заранее столпились у входа сада восторженно встретить своего дорогого гостя.

Едва показался Пушкин, как все бросились приветствовать его громким ура с выражением привета, кто как умел.

Весь вечер пролетел незаметно в разговорах о разных предметах, рассказах, смешных анекдотах и пр.

Все веселились от души, разговаривали, шутили, смеялись, и одушевление всех было общее. Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунылая персидская песня, и **Ахало** (подчеркнуто мною. — **В. Ш.**), и Алаверды, и Якши-Ол, и Байрон был на сцене, и все европейское, западное смешалось с восточно-азиатским разнообразием в устах образованной молодежи, и скромный Пушкин наш приводил в восторг всех, забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. Действительно, Пушкин в этот вечер был в апофеозе душевного веселья, как никогда и никто его не видел в таком счастливом расположении духа; он был не только говорлив, но даже красноречив, между тем как обыкновенно он бывал более молчалив и мрачен. Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений! Как часто он вскакивал с места, после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, как это пестрое разнообразие европейского с восточным ему нравилось и как он от души предавался ребячей веселости! Несколько раз повторялось, что общий серьезный разговор останавливался при какой-нибудь азиатской фарсе, и Пушкин, перерывая речь, бросался слушать какую-нибудь тамашу грузинскую или имеретинского импровизатора с волынкой»[1].

Характерно, что в этом рассказе «Ахало» названо рядом с песнями «Алаверды» и «Иахшиол». Они до того широко были распространены в народе, что не только Пушкин, но даже многие поющие «Ахало» полагали,

---

[1] Из воспоминаний К. И. Савостьянова «Пушкин и его современники», выпуск XXXVII, 1928, стр. 146—147.

что эти песни являются произведениями устного грузинского творчества.

Об исключительной популярности песни «Ахало» в то время говорит и тот факт, что в газете «Тифлисские ведомости» только за 1829 год она упомянута несколько раз.

Так, 26 апреля, т. е. за месяц до приезда Пушкина в Тбилиси, П. С. Санковский сообщал в своей газете: «На прошедшей святой неделе дан был любителям музыкальный вечер в пользу бедных. На нем играли следующие пьесы... 8. Грузинская песня **Ахало агмосулода**».

Вскоре после отъезда Пушкина из Тбилиси в Россию в той же газете от 13 сентября появилось стихотворное послание Санковского к своему приятелю, некоему С. Н. Е... ву, уехавшему, как выясняется из примечания, в Россию. В нем также описывается пиршество; причем любопытно, что это описание напоминает только что приведенный рассказ Савостьянова. Вспоминая веселые времяпрепровождения в окрестностях Тбилиси, в саду, в лунную ночь, поэт пишет:

«Но как любили мы с тобою
Беспечной Азии пиры,
Где беззаботною толпою
Ликуют Грузии сыны.

Где странностей нет утонченных
В нарядах, пище и словах;
Где лиц не видно принужденных,
Где дышит искренность в чертах.

...Среди радушного веселья
Они поют, и далеко
Протяжно эхо вдоль ущелья,
Уныло вторит **Ахало**».

Песня «Ахало агнаго» известна была даже за пределами Грузии. Поэт Гр. Орбелиани, описывая свое путешествие из Тбилиси в Петербург, рассказывает, что 24 сентября 1831 года в городе Ельце (Орловская область) его пригласил к себе на чай местный полицмейстер. «Жена полицмейстера начала играть на фортепиано и к моему удовольствию спела Ахало агнаго... Я ей

выразил большую благодарность, похвалил ее голос и превосходное грузинское произношение. Полицмейстера я научил Алаверды-Иахшиол, что ему очень понравилось»[1].

Видно, Пушкину очень понравились как грузинские песни и музыка, так и вообще новое для него общество, с которым у поэта установились самые лучшие, теплые отношения. Именно поэтому Пушкин и по возвращении из Арзрума на целую неделю остался в столице Грузии.

«В Тифлис я прибыл 1-го августа, — читаем в последней главе «Путешествия в Арзрум», — здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах, при звуке музыки и песен грузинских» (VIII, 482).

Таким образом, автор «Путешествия в Арзрум» знакомил русскую общественность не только с природой, бытом, историей Грузии, но и с грузинской поэзией, песнями. Пушкин один из первых ввел в русскую литературу тему грузинской поэзии.

Источниками сведений о Грузии были личные наблюдения Пушкина, сообщения передовых русских деятелей, служивших в Тбилиси (поэт сам указывает на одного из них — на Санковского), а также рассказы представителей грузинской интеллигенции, с которыми поэт здесь общался. О них подробно будет сказано в последующих главах книги. Теперь же отмечу, что, помимо живых впечатлений и рассказов, в «Путешествии в Арзрум» использованы многочисленные печатные источники, большинство которых уже выявлено. Однако автор одного из них оставался нераскрытым.

Речь идет о «Записках во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году». Автор пожелал остаться неизвестным, опубликовав свою книгу под буквами Н. Н. как раз незадолго до поездки Пушкина в Закавказье (1829).

---

[1] Сб. «Грузинские писатели о России». Составил В. Шадури, 1962, стр. 393 (на груз. яз.).

В библиотеке великого поэта оказалось два экземпляра этой книги. Исследователями[1] бесспорно доказано, что Пушкин использовал из нее многие места в «Путешествии в Арзрум». Н. Н. совершил свое путешествие вместе с известным приятелем Пушкина, председателем «Зеленой лампы» Никитой Всеволодовичем Всеволожским и его женой.

Мне удалось выяснить, что под Н. Н. скрывается Николай Александрович Нефедьев. Он родился, судя по формулярному списку, в 1801 году в семье бедного чиновника. «В службу вступил в сибирскую палату уголовного суда под-канцеляристом 14 августа 1814 г.» и до 1821 года служил там мелким чиновником. При учреждении в Астрахани конторы коммерческого банка Нефедьев был «определен в оную в должность секретаря — 23 ноября 1821 года», затем его произвели в губернские секретари, а к началу 1826 года он уже — титулярный советник.

Нефедьев сблизился с Всеволожским в Астрахани, где последний имел рыболовный промысел. С 21 мая по 14 августа 1827 года Нефедьев считался в отпуску, во время которого совместно с Всеволожским совершил свое путешествие «из Астрахани к Кавказским Минеральным Водам» и в Тбилиси, где военным губернатором служил известный Н. Сипягин, человек передовых взглядов. Вскоре после этого, 21 марта 1828 года, Н. В. Всеволожский добился перевода «на службу в Грузию по ведомству военного губернатора в Тифлис», а Нефедьев «по прошении был уволен» из ведомства коммерческого банка (20 сентября 1828 года) и отправлен на службу в «Кавказскую область». С 1834 года мы видим его уже на должности астраханского губернского прокурора, а с 1837 года — в комиссии сенатора Гана по исследованию и преобразованию Закавказья.

Перу Н. А. Нефедьева принадлежат не только «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию», но и несколько стихотворений и историко-этнографические труды — «Подробные сведения о волж-

---

[1] М. Гершензон. Статьи о Пушкине, 1926 г., стр. 50—59; Л. П. Семенов. Пушкин на Кавказе, 1937, стр. 75, 161.

ских калмыках» (1834) и «Взгляд на Армянскую область» (1839). Первый из этих трудов получил высокую оценку В. Г. Белинского.

Такова личность анонимного автора интересующих нас «Записок».

Из всего сказанного следует, что Пушкин воспринял Грузию как составную часть любимой отчизны, раскинутой «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Он вдохновенно воспел этот край, сделав грузинскую тему органической темой русской литературы.

ГРУЗИЯ В СТИХАХ ПУШКИНА. ГИМН ТЕРЕКУ

I

В стихах Пушкина грузинские мотивы появляются еще до поездки поэта в Закавказье. Так, Грузия, Казбек упомянуты в «Ответе Ф. Т.***», написанном в 1826 году.

«Нет, не черкешенка она:
Но в долы Грузии от века
Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека» (III, 41).

В 1828 году Пушкин пишет «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Это стихотворение, по мнению многих исследователей, связано с одним из лучших лирических созданий Пушкина — «На холмах Грузии», первая редакция которого была набросана поэтом 15 мая 1829 года на пути в Тбилиси.

До сих пор еще не выяснен вопрос о том, к кому относятся эти стихи, о ком думал Пушкин, слушая песни «Грузии печальной», или кого вспоминал при созерцании кавказского пейзажа, о чем он грустил во мгле ночной на берегу шумной Арагвы?

Пушкин так тщательно зашифровал (особенно в окончательных редакциях) «мучительный и таинственный предмет» своей любви, что его до сих пор не удалось расшифровать и прийти к общему безоговорочному выводу.

Еще П. И. Бартеневым в 1866 году была высказана

догадка, что как стихотворение «Не пой, красавица, при мне», так и «Кавказский пленник» связаны с каким-нибудь действительным случаем, и в них, может быть, заключена какая-нибудь биографическая черта»[1].

В дальнейшем в пушкиноведении было множество всяких противоположных предположений, но единого, обоснованного мнения по интересующему нас вопросу все-таки нет.

П. Е. Щеголев, опубликовавший в 1911 году обширную статью об «утаенной любви» А. С. Пушкина, указал, что таинственный источник вдохновения Пушкина и «идеал» его многих художественных образов начала 20-х годов была Мария Николаевна Раевская, впоследствии Волконская. После выступления Л. П. Гроссмана[2] и некоторых других исследователей трудно согласиться с этим положением, но едва ли можно сомневаться в правильности утверждения, что с М. Н. Раевской-Волконской связаны стихотворения «Не пой, красавица, при мне» и «На холмах Грузии».

Нас интересует М. Н. Раевская, как личность, неразрывно связанная с Кавказом и декабризмом, так и образ ее в творческом сознании Пушкина. Поэт близко с ней познакомился на Кавказе в 1820 году, когда он провел несколько месяцев в семье Раевских на Минеральных Водах и в Крыму. Пушкин тогда восторженно писал брату, что в «милом семействе» Раевского он провел «счастливейшие минуты жизни», что «все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная» (XIII, 19).

М. Н. Раевской в то время шел шестнадцатый год. Уже тогда эта смуглая красавица выделялась прекрасным образованием и заметной одаренностью, тонким литературным вкусом и решительным характером.

В январе 1825 года М. Н. Раевская стала женой декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Последний был дружен с Пушкиным (сохранилось его письмо к

---

[1] П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России («Русский архив», 1866, стр. 1109—1110).

[2] Л. П. Гроссман. У истоков «Бахчисарайского фонтана», сб. «Пушкин, Исследования и материалы», т. III, 1960.

поэту). Как выясняется из недавно опубликованных документов, С. Волконскому было поручено принять Пушкина в тайное общество, но он не исполнил этого, так как не хотел подвергнуть поэта опасности[1].

После восстания 14 декабря аресту подверглись как муж Марии Николаевны, так и зять — М. Ф. Орлов и оба брата — Николай и Александр, также обвинявшиеся в причастности к декабризму.

В этот критический момент М. Н. Раевская-Волконская обнаружила твердость и силу духа, которые выдвинули ее в ряды замечательных русских женщин, воспетых Пушкиным и Некрасовым.

Когда С. Г. Волконского, осужденного по первому разряду, отправили на каторгу, Мария Николаевна героически преодолела все препятствия и, оставив четырехмесячного ребенка Николая на попечение бабушки, последовала за мужем в Сибирь, где разделила с ним все тяготы почти тридцатилетней ссылки.

Пушкин, Кюхельбекер, А. И. Одоевский и их современники, так же как и Некрасов, смотрели на М. Н. Раевскую-Волконскую, как на «декабристку», героиню, благоговея перед ней (характерно первоначальное название поэмы Некрасова — «Декабристки»)[2].

В Москве накануне отъезда М. Н. Волконской в Сибирь в ее честь Зинаидой Волконской был устроен вечер. Описывая этот вечер, Мария Николаевна в своих «Записках» сообщает: «Наш великий поэт Пушкин был тут...» и далее особенно важное свидетельство: «В эпоху добровольного изгнания нас, жен ссыльных, в Сибирь, он был преисполнен искренним восторгом, он хотел поручить мне свое «Послание к узникам», чтобы передать им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравье-

---

[1] М. Нечкина. Новое о Пушкине и декабристах. (Литературное наследство, 1952, т. 58, стр. 163.)

[2] Считая М. Н. Волконскую «ангелом-хранителем» и «утешительницей» ссыльных декабристов, Кюхельбекер посвятил ей одно из своих предсмертных стихотворений (Литературное наследство, 1954, т. 59, стр. 470—473), а А. И. Одоевский в своем посвящении «М. Н. Волконской» писал, что жены декабристов, последовавшие за ними в Сибирь, узникам «любовь и мир душевный принесли». (А. И. Одоевский. Полн. собр. стих. и писем, 1931, стр. 151.)

вой... Пушкин говорил мне: я намерен писать труд о Пугачеве. Я отправляюсь на места, перевалю через Урал, последую дальше и явлюсь к вам в Нерчинские рудники просить пристанища»[1].

Теперь Пушкин лучше постиг образ этой женщины, засверкавший с новой силой. Отныне она становится для поэта еще более возвышенной и привлекательной. Неувядаемая любовь к ней сейчас соединилась с преклонением перед ее героическим подвигом. «Во глубине сибирских руд» оказались не только друзья и братья поэта, но и его «сокровище, святыня», а на другом конце империи — на Кавказе находились «разжалованные» друзья, брат поэта и брат Марии Николаевны — Н. Н. Раевский.

Поэтому естественно, что отныне имя Марии Николаевны ассоциируется с Грузией, Сибирью и декабризмом. Особенно часто думает поэт о Марии Николаевне, о Раевских, о казненных и сосланных декабристах в 1828 году.

Это был, как известно, тревожный год в жизни Пушкина. Следствия по поводу «Андрея Шенье» и «Гаврилиады», допросы, секретный надзор и травля... «отрезвили» поэта от всяких иллюзий насчет «нового царства». С этим периодом преследований поэта совпали и несчастья в семье Раевских, на которые поэт не мог не откликнуться.

В январе 1828 года в Петербурге умер маленький сын Марии Николаевны, оставшийся после ее отъезда на попечении бабушки. Пушкин написал малютке известную эпитафию. Она была сообщена Н. Н. Раевским-старшим в Сибирь Марии Николаевне и вызвала ее благодарственное письмо[2].

К лету 1828 года относится нашумевшая история Александра Николаевича Раевского, человека незауряд-

---

[1] М. Н. Волконская. Записки, 1924, стр. 34 и 36.

[2] И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг Пушкина, 1903, стр. 129; С. Г. Волконский. Записки, 1901, стр. 470. По словам одного из сыновей Волконского, гений Пушкина «освещал в Сибири» их детство и юность. (Литературное наследство. № 58, стр. 163.)

ных способностей и не совсем разгаданного[1]. Граф Воронцов, который за четыре года до этого добился удаления Пушкина из Одессы, теперь стал добиваться высылки А. Н. Раевского, издавна влюбленного в жену графа. Воронцов обвинил Раевского в антиправительственных разговорах, за что по «высочайшему повелению» он был выслан в июне 1828 года в Полтаву[2].

Вскоре после этого, в октябре 1828 года, в период, когда, по словам Пушкина, половина семьи Раевских была в ссылке, а другая половина — накануне разорения[3], когда А. Раевский находился в полтавской ссылке, а Мария Николаевна — в Сибири, Пушкин пишет в посвящении к своей «Полтаве»:

«Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей» (V, 17).

В одном из вариантов посвящения было написано: «Сибири хладная пустыня» (V, 324).

Едва ли можно сомневаться, что «Полтава» посвящена Марии Николаевне Раевской-Волконской[4]. Весьма знаменательно, что, думая о «мучительном и таинственном предмете», поэт думал об изгнанных и казненных декабристах. Та самая рука, которая писала только что приведенное посвящение «святыне», тогда же на рукописи «Полтавы» нарисовала виселицу с пятью повешенными. Характерно также, что «Полтава» по теме и настроению перекликается с произведениями повешенного Рылеева «Войнаровский» и «Петр Великий в Острогожске», которые высоко ценил Пушкин.

---

[1] Пушкин высоко ценил А. Н. Раевского и обрисовал его облик в в стихотворении «Демон» (1823).

[2] Архив Раевских, т. I, стр. 396—397.

[3] Письмо А. С. Пушкина к Бенкендорфу от 18 января 1830 г. (XIV, 58).

[4] Подробно об этом см. указ. работу П. Е. Щеголева, стр. 164—169.

Вернемся к стихотворению «Не пой, красавица, при мне», написанному также в 1828 году. Внешняя история его возникновения хорошо известна.

14 марта 1828 года в Петербург из Тбилиси приехал Грибоедов с текстом Туркманчайского договора и остался там до 6 июня. Воспоминания и письма современников говорят о частых встречах Пушкина и Грибоедова на званых обедах и литературных вечерах Петербурга. Из писем П. А. Вяземского к жене знаем, что в конце марта они вместе были на обеде у композитора и любителя музыки М. Ю. Виельгорского, что в середине апреля у В. А. Жуковского сошлись три величайших русских поэта — Пушкин, Грибоедов и Крылов. 16 мая у графини Лаваль Пушкин читал своего «Бориса Годунова» в присутствии Грибоедова и Мицкевича[1], а на вечер к П. П. Свиньину Пушкин и Грибоедов пришли вместе. Здесь была прочитана автором «Грузинская ночь». К. Полевой, описывая этот вечер, сообщает: «Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его как нельзя больше и за несколько дней сказал мне о нем: «Это один из самых умных людей России. Любопытно послушать его...»[2]

Пушкин, без сомнения, с живым интересом слушал как произведение Грибоедова из грузинской жизни, так и рассказы о закавказских и персидских делах, участником и блестящим знатоком которых был автор «Горя от ума». Из «Путешествия в Арзрум» знаем, что Грибоедов откровенно делился с Пушкиным своими мыслями и переживаниями. «Я расстался с ним, — рассказывает Пушкин о Грибоедове,—в прошлом году, в Петербурге перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить...» (VIII, 460—461).

Говорили великие поэты, конечно, и о Грузии, и об общих приятелях-декабристах, и о Н. Н. Раевском. Надо полагать, что Пушкин рассказал о своем желании по-

---

1 Литературное наследство, 1952, г., т. 58, стр. 75, 76, 79.

2 К. Полевой. О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова («Горе от ума», изд. 2-е, 1839, стр. XLI).

ехать в Закавказье и Грибоедов обещал помочь ему в этом.

В это же время Грибоедов сообщил М. И. Глинке национальную грузинскую мелодию, о чем узнаем из «Записок» последнего.

«Провел около целого дня, — пишет М. И. Глинка,— с Грибоедовым (автор комедии: Горе от ума). Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс «Не пой, волшебница, при мне»[1].

П. В. Анненков, по-видимому, со слов М. И. Глинки, рассказывал, что композитор играл на фортепиано грузинскую мелодию со свойственным ему выражением и искусством. В ответ на замечание присутствовавших, что ей недостает стихов или романса для всеобщей известности, Пушкин написал это стихотворение[2].

Еще в 1914 году М. А. Цявловский, публикуя автограф стихотворения «Не пой, волшебница, при мне», высказал предположение, что красавица, которая своим пением вдохновила Пушкина и побудила его написать это стихотворение, была Анна Алексеевна Оленина[3]. Гипотеза ученого подкрепляется новейшими исследованиями[4].

Итак, Пушкин услышал грузинскую мелодию от Глинки, а последний — от Грибоедова, прекрасного музыканта, знатока грузинской поэзии и культуры. Компо-

---

[1] М. И. Глинка. Литературное наследие, под ред. В. Богданова—Березовского, т. I, стр. 110, 1952, в первом варианте стихотворения начальная строка читалась именно так, как у Глинки (см. М. А. Цявловский. Два автографа Пушкина, 1914, стр. 3—13).

[2] П. В. Анненков. Материалы для биографии Пушкина, изд. 2-е, стр. 243. Эта встреча Пушкина и Глинки произошла, по предположению М. А. Цявловского, не ранее середины мая и не позднее 12 июня 1828 года. Первый вариант стихотворения датирован 12 июня 1828 года.

[3] М. А. Цявловский. Два автографа Пушкина, 1914, стр. 10.

[4] См. работу Т. Г. Цявловской. Дневник А. А. Олениной («Пушкин. Исследования и материалы», 1958, т. II, стр. 256—257).

зитор Д. Аракишвили свидетельствует, что это была подлинно грузинская народная песня[1].

Грузинская мелодия в блестящем исполнении великого композитора с новой силой пробудила в душе Пушкина мучительные чувства, скорбные воспоминания о той «далекой бедной деве», с которой поэт близко познакомился на Кавказе восемь лет назад и с которой была связана столь чистая любовь.

Так родился один из задушевных лирических шедевров русского гения, чудное музыкальное создание.

«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь — и при луне
Черты далекой, бедной девы...

Я призрак милый роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний» (III, 109).

В первой редакции этого стихотворения было:

«Не пой, волшебница, при мне
Напоминают мне оне
Кавказа гордые вершины,
Лихих чеченцев на коне
И закубанские равнины» (III, 659).

Поэт исключил эту строфу, по-видимому, по той причине, что в ней слишком прозрачно намекалось на

---

[1] Д. Аракишвили. А. С. Пушкин в грузинской музыке (сб. «А. С. Пушкин в Грузии», 1938, стр. 162, на груз. яз.); его же «Одноголосная и хоровая городская песня Восточной Грузии», Тбилиси, 1946, стр. 11—12.

конкретные биографические факты, на реальный прототип «призрака милого, рокового» и на ту обстановку на Кавказе, в которой в 1820 году возникло тщательно скрываемое чувство поэта[1].

Что же касается образа «печальной Грузии» в противоположность «счастливой Грузии» в «Кавказском пленнике», то об этом уже говорилось выше.

Теперь обратимся к стихотворению «На холмах Грузии».

Незадолго до отъезда в Тбилиси, в 1829 году, Пушкин встретился с генералом Н. Н. Раевским-старшим. Последний послал с поэтом письмо к своему сыну Николаю. Однако Пушкин вез в Грузию не только письмо. Во время этого путешествия ему сопутствовали мысли и воспоминания о «береге дальном» и о «далекой деве». Когда поэт, остановившись в Георгиевске, съездил оттуда в Горячеводск, при виде знакомых мест на него с особой силой нахлынули воспоминания о былом, о семье Раевских, где десять лет назад он был так счастлив.

«С неизъяснимой грустью, — признается Пушкин в «Путешествии в Арзрум», — пробыл я часа три на водах; [с полнотой чувства разговаривал с любезными Же... и Жи... и старался изъяснить им мои печальные впечатления. Они меня поняли и дружески со мной распростились]. Я поехал обратно в Георгиевск — берегом быстрой Подкумки. Здесь бывало сиживал со мной Н.[иколай] Р.[аевский], молча прислушиваясь к мелодии волн. Я сел на облучок и не спускал глаз с величавого Бешту, уже покрывавшегося вечернею тенью. Скоро настала ночь. — Небо усеялось миллионами звезд.— Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении окруженный горными своими вассалами. Наконец он исчез во мраке. Я приехал в Георгиевск поздно и застал гр.[афа] Пуш[кина] уже спящего» (VIII, 1031).

Это — первоначальная запись Пушкина в «Путеше-

[1] Разбор стихотворения, как музыкального произведения, см. в статье С. Л. Гинзбурга «Пушкин и грузинская песня» (Пушкин, исследования и материалы. Труды третьей Всесоюзной пушкинской конференции, 1953, стр. 314—334).

ствии в Арзрум», сделанная по возвращении в Георгиевск 15 мая 1829 года. Здесь, в отличие от окончательной редакции, подробнее и непосредственнее передаются переживания поэта.

В тот же день Пушкин набрасывает следующее стихотворение:

«Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла
Восходят звезды надо мною
Мне грустно и легко — печаль моя светла
Печаль моя полна тобою,
Тобой одной тобой — унынья моего
Ничто не мучит не тревожит
И сердце вновь горит и любит от того
Что не любить оно не может.

Прошли за днями дни — сокрылось много лет
Где вы, бесценные созданья
Иные далеко, иных уж в мире нет
Со мной одни воспоминанья

Я твой попрежнему тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний» (III, 722 — 23).

Это — первоначальная редакция стихотворения «На холмах Грузии».

Настроение и картина наступающей ночи, отраженные в первоначальной записи «Путешествия в Арзрум», как видим, почти дословно повторяются в наброске стихотворения. Пушкин, который строго разграничивал прозу от поэзии («стихи и проза, лед и пламень») и всегда избегал «языка чувств» в «презренной прозе», здесь, в путевых записках, не удержался от излияния своих переживаний.

Посещение знакомых мест напомнило поэту давнишнее время, когда он так счастлив был в «милом семействе» Раевских (XIII, 19).

С тех пор «прошли за днями дни — сокрылось много лет» и многое в мире изменилось.

Одни из «бесценных друзей» оказались в «далекой пустыне», других уж в мире не стало. Но воспоминания о них никогда не покидали поэта. Под звездным

кавказским небом эти воспоминания охватили его с особой силой. Здесь все было связано с Раевским, с Грузией, с Сибирью.

Пушкин, со свойственной ему художественной силой, выразил тончайшие нюансы тех мыслей и чувств, которые возникли при виде знакомых мест. С. Бонди, проанализировавший черновики стихотворения, правильно заметил, что в них отражается не только характерный для Пушкина творческий процесс, но, до известной степени, и душевное состояние самого творца[1].

Созданию этого замечательного стихотворения, несомненно, предшествовало то особое состояние души поэта — волнение, беспокойство, возбуждение, — которое сам Пушкин изобразил в «Египетских ночах».

То сладостно мучительное чувство любви, от которого замирало сердце, с течением времени не исчезло, а, обогатившись восторгом и уважением, превратилось в грустные и светлые воспоминания. Кавказ с новой силой раскрыл эту сердечную рану поэта, и под звездным небом завязалась интимная беседа с милым призраком, клятвой прозвучали слова:

«Я твой попрежнему тебя люблю я вновь»[2].

Такова первая редакция стихотворения.

В дальнейшем оно видоизменилось. Сам Пушкин опубликовал его под названием «Отрывок», указав тем самым, что оно является частью более крупного произведения. Окончательная редакция, как известно, такова:

«На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,

---

[1] См. С. Бонди. Новые страницы Пушкина, 1931, стр. 13.

[2] Долгое время считалось, что это стихотворение относится к Н. Н. Гончаровой или Ушаковой (см. сочинения Пушкина в издании П. А. Ефремова, 1882, т. II, стр. 412, в изд. Л. И. Поливанова, т. I, изд. 3, стр. 294); Е. Г. Вейденбаум полагал, что оно обращено к Елене Николаевне Раевской; после статей П. Е. Щеголева адресатом стихотворения большинство исследователей считали Марию Николаевну Раевскую-Волконскую.

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может» (III, 158).

При сравнении этого текста с первоначальной редакцией бросаются в глаза два крупных изменения: во-первых, место действия переносится в Грузию и, во-вторых, отбрасывается вся вторая половина стихотворения. Пушкин, надо полагать, сознательно не публикует именно те строки, которые могут раскрыть тайну его сердца (хотя тут могли быть и соображения художественного лаконизма). Поэт чувствует непреодолимую потребность писать о ней. Пишет, но не печатает, вычеркивает все то, где ясно проступают автобиографические мотивы, связанные с личностью любимой женщины. Повторяется то же самое, что и в «Полтаве» (посвящение), и в стихотворении «Не пой, красавица, при мне». Везде конкретно-автобиографические мотивы, намекающие на М. Н. Раевскую, оставались в черновиках. Это была слишком близкая, дорогая и личная тема, не подлежащая разглашению.

Поэт мог перенести место действия в Грузию еще по другой причине. По пути в Тбилиси Пушкин переехал Кавказский хребет. «Мы спускались в долину, — рассказывает он в «Путешествии в Арзрум», — молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был чист и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Ч[иляева]. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее» (VIII, 454). Мы знаем, что Б. Г. Чиляев в 1829 году служил правителем горских народов по Военно-Грузинской дороге, с местопребыванием в Квешети. Здесь у него останавливались сосланные на Кавказ декабристы и путешественники (А. С. Грибоедов, А. А. Бестужев и др.). Гостеприимный и образованный хозяин мог рассказать Пушкину много интересного о них, в том числе и о Н. Н. Раевском.

Здесь, в доме Чиляева, под влиянием этих бесед, в ожидании близкой встречи с Раевским, на берегу шумной Арагвы, Пушкин, охваченный теми же чувствами, которые он испытал в Горячеводске, мог заменить первоначальные две строчки своего стихотворения новыми:

«На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною».

Так интимная тема переплетается с темой Грузии и декабризма. Судьба заживо похороненных героев 14 декабря и печальной далекой Грузии становится для великого поэта близкой, сугубо личной, лирической темой.

Мнение о связи стихотворения «На холмах Грузии» с М. Н. Раевской-Волконской подкрепляется и новейшими исследованиями. Так, касаясь поездки Пушкина в Закавказье в 1829 году, Т. Г. Цявловская пишет, что поэт на Кавказе «вспомнил свои сердечные чувства» и нарисовал портреты М. Н. Волконской и Е. К. Воронцовой. «Рисунки сделаны, — сообщает Т. Г. Цявловская, — перед писанием чернового текста письма к Ф. И. Толстому от 27 мая — 10 июня 1829 года. Портреты Волконской и Воронцовой определены мною»[1].

Любопытно, что стихотворение «На холмах Грузии» было переслано М. Н. Волконской в 1830 году в его краткой редакции (без тех мест, где имеется признание: «Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь»). Пославшая это стихотворение В. Ф. Вяземская сообщила ей, будто оно посвящено Н. Н. Гончаровой. В своем ответе М. Н. Волконская раскритиковала конец стихотворения[2].

«На холмах Грузии» — это своеобразная исповедь поэта перед воображаемым милым призраком, признание, полное сильного, сложного и искреннего чувства. Это, по словам Белинского, одно «из лучших, задушевных созданий лирической музы Пушкина».

2

Другие стихотворения Пушкина, связанные с Грузией, посвящены, главным образом, описанию ее природы.

---

[1] «Пушкин». Исследования и материалы, т. II, 1958, стр. 280.

[2] М. П. Султан-Шах. М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830—1832 годов (Пушкин. Исследования и материалы, 1956, т. I, стр. 262). Из новейших работ на интересующую нас тему см. статью акад. М. П. Алексеева «Новый автограф стихотворения Пушкина «На холмах Грузии» («Временник», 1966).

Таковы — «Кавказ», «Обвал», «Меж горных (стен) несется Терек», «И вот ущелье мрачных скал», «Страшно и скучно», «Монастырь на Казбеке». Во всех этих стихах, как ни странно, изображается по существу природа одного уголка Грузии — Казбегского района. Дарьяльское ущелье и бушующий Терек — вот излюбленные объекты поэтического описания Пушкина. О них говорится также в «Путешествии в Арзрум», «Евгении Онегине» и «Тазите».

Терек вытекает, как известно, из казбекских ледников (недаром говорится в «Дарах Терека» Лермонтова: «Я родился у Казбека, вскормлен грудью облаков»), до селения Коби он течет на юго-восток, а затем делает резкий поворот на север и параллельно Военно-Грузинской дороге мчится к Дарьялу. Здесь, «меж утесистых громад», в своем стремительном падении Терек действительно становится злобным и дико ревущим.

Вот как Пушкин описывает это место в «Путешествии в Арзрум»:

«Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелье. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелье извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Граф П[ушкин] и Ш[ернваль], смотря на Терек, вспоминали Иматру и отдавали преимущество реке на Севере гремящей. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища» (VIII, 450).

Однако эти места приковали внимание Пушкина не только красотой. Открывшиеся перед ним картины были очень подходящими объектами для выражения определенных идей, волновавших поэта.

Пушкинский пейзаж выделяется не только конкретной предметностью, но и глубоким лиризмом и социальным звучанием. Непревзойденный мастер реалистического пейзажа, он точно и верно воспроизводил зримые и слышимые стороны природы, и в то же время нередко одухотворял и олицетворял ее, превращая «мертвые

предметы» в средство выражения своих мыслей и настроений, явлений общественной жизни, социальных, политических и философских идей.

Возьмем «Кавказ» — наиболее типичное произведение в цикле кавказских стихов Пушкина.

В нем дается поразительно точное, осязаемое описание горного ландшафта. Поэт как бы с орлиного полета обозревает природу целого края. Здесь все — снежные вершины Кавказа и плавно движущиеся тучи, шум водопадов и грохот обвалов, парение орла в лазурной высоте и щебетание птиц, в горах гнездящиеся люди и по злачным стремнинам бродящие овцы, светлая Арагва и свирепый Терек... Причем все это дается не в хаотическом беспорядке и не как «каталог», перечень «красот природы». Избрав определенный угол зрения, Пушкин описывает открывающиеся его взору «географические поясы» горного края в строгой, «ступенчатой» последовательности.

Находясь в «вольной вышине», доступной только орлам, поэт опускает взор и на разных высотах замечает различные «ступени», начиная от зоны вечного льда, где тучи смиренно идут под ним, и кончая «веселыми долинами», «где мчится Арагва в тенистых брегах», а «Терек играет в свирепом весельи».

Необходимо заметить, что Пушкин переносился на такую высоту не только мысленно. Это не было только «полетом фантазии». В «Кавказе», несомненно, отразились чувства поэта, испытанные во время путешествия через Крестовый перевал — самую высокую точку Военно-Грузинской дороги. Пушкин достиг ее 25 мая 1829 года.

«Мы достигли, — читаем в «Путешествии в Арзрум», — самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.

Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил бога и проч., что очень изумило проводников.

Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловид-

ной Грузии восхитителен. Воздух Юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога» (VIII, 454).

Напомню, что Крестовый перевал привел в восторг не одного Пушкина. Аналогичное чувство испытали здесь и Грибоедов, и Лермонтов, и Денис Давыдов, и Бестужев-Марлинский, и А. Е. Розен, и А. А. Шишков..., давшие в своих произведениях художественное описание этого чудного «божьего мира».

В те времена эти места зимой были почти непроходимы. В этом царстве буйных ветров и грозных обвалов снег лежал, по выражению местных жителей, до неба — «такой снег, что между ним и небом и птичке не пролететь». Но летом отсюда можно было любоваться поистине волшебными картинами природы. Вспомним слова Лермонтова в письме к Раевскому: «Лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх... оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь».

На высоте 2.395 метров над уровнем моря, находясь на «самой возвышенной точке высот»[1], Пушкин имел полное право сказать:

«Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне» (III, 196).

Эта вершина разделяет природу на две резко контрастные части. Позади, на севере — грозное ущелье Дарьяла, злобный рев бушующего Терека, суровое царство гор, сказочных и диких; там, над разорванными облаками, торжественно возвышаются зубчатые верши-

---

[1] Д. В. Давыдов. Воспоминания о 1826 годе.

ны скал и «царь Кавказа» — белоснежный Казбек; впереди же, на юге — чарующая панорама Арагвинской долины, мягкая и роскошная природа «миловидной Грузии».

«И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали»[1].

Итак, великолепные виды природы, открывающиеся перед взором Пушкина, напрашивались на художественное изображение. И поэт дал картину объективного мира, замечательную по точности и верности, по свежести красок, по осязаемости линий и контуров. «Кавказ» — образец реалистического пейзажа. Однако это описательное стихотворение в последней части вдруг переходит в иносказательное. Когда поэт, опуская взор все ниже, обращается к Тереку, он переходит от описания к символике.

«Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной,
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады».

Далее в черновике стихотворения имеются особенно любопытные строки, не включенные поэтом в окончательный текст:

«Так буйную вольность законы теснят
Так дикое племя [под] властью тоскует
Так ныне безмолвный Кавказ негодует
Так чуждые силы его тяготят...» (III, 792).

Как видим, применяя прием развернутого поэтического сравнения, Пушкин вкладывает в последнюю часть своего стихотворения определенную общественную идею и личное настроение. Свирепый Терек — молодой зверь — буйная вольность Кавказа — таков один ряд сравнений; другой ряд — Дарьяльские немые громады — же-

[1] М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. соч., 1935, т. III, стр. 457.

лезная клетка—чуждые силы власти. В образе мятежного Терека как бы олицетворяется «буйная вольность» Кавказа, борющегося против царского деспотизма.

Почему же поэт не включил эту последнюю строфу в окончательный текст? Принято считать, что это было сделано по цензурным соображениям. Вполне возможно. Но имелись, на мой взгляд, еще соображения художественного и идейного порядка.

В отброшенных строках в слишком голой форме выступала тенденция, как бы нарушавшая художественную цельность произведения. Дисгармонию вносила туда не только обнаженная публицистичность, но и соответствующий ей словесный материал — «законы», «власть» и другие чисто политические термины. Это во-первых. И, во-вторых, Пушкин, по-видимому, решил использовать образ непокорного Терека не как символ борющегося Кавказа, а как символ движения и борьбы против деспотизма вообще.

Пушкин понимал всю сложность «русско-кавказского» вопроса. С одной стороны, «чуждые силы» — в виде царских законов — «теснили» как кавказские народы, так и русский народ и самого Пушкина. Поэтому, конечно, поэту импонировала борьба кавказских народов против ненавистного самовластья. В «Путешествии в Арзрум» нередко осуждается (то открыто, то в скрытой форме) антинародная и антигосударственная хищническая политика царизма на Кавказе. С другой стороны, борьба «буйной вольности» нередко направлялась ханами, мюридами против России вообще, против интересов народов Кавказа и России, в защиту азиатского феодально-патриархального уклада. Турецко-персидская агентура вела лихорадочную деятельность по мобилизации антирусских сил среди горцев. Об одном из таких фанатиков — о Мансуре — говорится в том же «Путешествии в Арзрум». Поэт понимал прогрессивное значение присоединения Кавказа к России. Учитывая эту сложную диалектику, Пушкин мог отказаться от безоговорочного прославления «буйной вольности» Кавказа.

Сократив стихотворение, Пушкин, не снижая идейной направленности, расширил содержание художественных образов. «Железная клетка» и «немые громады» оли-

цетворяют в «Кавказе» деспотический режим, а мятежный Терек — непрекращающуюся борьбу против этого режима, протест против тупого гнета и произвола вообще. Напомню, что «буйными» великий поэт называл бунтарей и революционеров. Французская революция 1789 года отличалась, по словам Пушкина, «буйностью юной», а декабристы это — «буйное поколение».

В «железных клетках» сидели лучшие представители этого поколения. Сам поэт задыхался в тисках самодержавия. Сравнивая Терское ущелье с тюрьмой, поэт превращал его в символ режима, душившего все лучшее и живое.

«Тесно и душно
В диком ущелье —
Тучи да снег.

Небо чуть видно,
Как из тюрьмы[1].

. . . . . .

Ветер шумит.
[Солнцу обидно]» (III, 203).

В этом наброске ясно звучит знакомый пушкинский мотив — отрицание тьмы и прославление солнца («Да здравствует солнце, да скроется тьма!»). Это — взлет поэта из тесной и душной тюремной обстановки, из ущелья мрачных скал — к простору, свету, солнцу.

В черновике другого стихотворения читаем:

«И вот ущелье мрачных скал
Пред нами шире становится,
Но тише Терек злой стремится,
Луч солнца ярче засиял» (III, 202).

Поэт находил что-то родное и близкое в образе буйного Терека, рвущегося из «клетки железной» на свободу. Отсюда своего рода символизация Терека в кавказском цикле пушкинских произведений.

Тема Терека у Пушкина везде звучит как гимн свободе, как прославление борьбы против темных и тупых сил. Везде мятежный Терек противопоставляется теснинам Дарьяла, черным скалам и грозных обвалам.

---

[1] Подчеркнуто мною. (**В. Ш.**)

«Меж горных [стен] несется Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вкруг огромных скал,
То здесь, [то там] дорогу роет,
Как зверь живой, ревет и воет —
И вдруг утих и смирен стал.
Все ниже, ниже опускаясь,
Уж он бежит едва живой.
Так, после бури истощаясь,
Поток струится дождевой.
И вот обнажилось
Его кремнистое русло» (III, 201).

Тазит, герой одноименной поэмы, любил бродить здесь и «слушать Терек».

Евгений Онегин видит, как «Терек своенравный крутые роет берега»...

О стесненном «свирепом» Тереке, с ревом бросающем свои волны через утесы, которые преграждают ему путь, говорится и в первой главе «Путешествия в Арзрум». На обратном пути в Россию в Казбегском районе Пушкин увидел величественную картину — последствия недавней схватки Терека с Бешеной Балкой (Куро):

«Овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток» (VIII, 482).

Особенно следует остановиться на «Обвале», в котором больше, чем в каком-либо другом произведении, выражен апофеоз Терека.

Привожу целиком этот «образец пушкинского описания природы» (Белинский).

«Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,

И Терека могущий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.

И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.

И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол.
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец» (III, 197—198).

Источником стихотворения послужили личные впечатления поэта. Проехав Дарьяльское ущелье и селение Казбеги, Пушкин 24 мая остановился ночевать в деревне Коби. Она находится, сообщает поэт, «у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход».

«Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года, — читаем далее в «Путешествии». — Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелье на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек пробился сквозь обвал не прежде, чем через два часа. То-то был он ужасен!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которыми шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.

В это время услышал я глухой грохот. «Это обвал», сказал мне Г. Ог[арев]. Я оглянулся и увидел в стороне груду снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал

оборвался; страшная глыба свалилась на его повозку; поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и покатилась в пропасть с своею добычею» (VIII, 453—454).

Итак, повторяю, источником «Обвала» были прежде всего личные наблюдения поэта; Пушкин сам прошел по обвалу, обрушившемуся в конце июня 1827 года. Однако, несмотря на это совершенно точное указание, некоторые исследователи, как ни странно, все-таки считают, что описание обвала в «Путешествии в Арзрум» и в стихотворении «Обвал» навеяно иностранными литературными источниками.

Так, еще А. В. Дружинин «доказывал», что на Пушкина «производил великое впечатление» Роберт Бернс, а не картина реальной природы[1]. Ю. Тынянов категорически заявил, что как сюжетом стихотворения «Обвал», так и источником выше приведенного описания обвала в «Путешествии в Арзрум» послужила книга французского автора Гамбы о путешествии по России и Кавказу, изданная в 1826 году в Париже.

Е. Вейденбаум и Ю. Тынянов «установили» даже «происхождение пушкинской ошибки»: Пушкин пишет, что «дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года». Нет, возражает Ю. Тынянов, ссылаясь на Е. Вейденбаума, обвал здесь был не в 1827 году, а в 1817 году. О последнем и говорится в книге Гамба. «По-видимому, дата, приводимая Гамба: 1817, была Пушкиным записана по памяти и превратилась в 1827»[2].

Это — чистый домысел, противоречащий очевидной логике фактов. Удивительное дело: не веря совершенно точным сообщениям Пушкина, исследователи «доказывают», что поэт использовал, но не назвал книгу Гамбы[3].

Во-первых, нет никакого основания не верить словам Пушкина о том, что «дорога шла через обвал». Поэт не только видел это собственными глазами, но и прошел по этой дороге; во-вторых, странно было бы предположить, что это был обвал, обрушившийся в 1817 году. Никто

---

[1] «Библиотека для чтения», 1855, т. СХХХ, отд. 3, стр. 74.
[2] «Временник», т. 2, стр. 71.
[3] Там же, стр. 70.

еще не видел на Военно-Грузинской дороге обвала двенадцатилетней давности; наконец, обвал имел место здесь и в 1827 году. Об этом говорится, между прочим, в книге Н. Нефедьева «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году», изданной в 1829 году. «Такой обвал, сообщает автор, случился до нас за месяц, и мы в конце июня ехали по громадам снега, под которым стремилась вода и, местами показываясь, опять исчезала».

Рассказы о периодических обвалах в тех местах Пушкин мог слышать и от местных жителей, а также от Н. Огарева, о котором упоминает в «Путешествии». Полагаю, что Н. Огарев вообще был весьма богатым и авторитетным источником многих сведений не только географического порядка.

«Обвал» — поистине образец пушкинской пейзажной лирики. В нем в гармоничном единстве слились не только «объективное» и «субъективное», правдиво-описательное и иносказательное, но и поразительная пластика и звукозапись. Это яркая, представленная в динамике картина схватки стихийных сил природы — победоносное единоборство Терека с огромными снежными обвалами, обрушившимися на него с высоты «мрачных скал». Ясно представляя борьбу, разыгравшуюся среди величавой природы, мы в то же время ощущаем эмоциональную взволнованность автора, как бы горячего участника этой борьбы.

Настроение автора и ситуация, изображенная в этом произведении (обвал «Терека могучий вал остановил»), напоминают другое замечательное стихотворение Пушкина, которое начинается так:

«Кто, волны, вас остановил,
Кто сковал[ваш] бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?»

Правдоподобно предположение, что в этом стихотворении, написанном в 1823 году, Пушкин иносказательно коснулся спада в развитии революционного движения.

Стихотворение заканчивается известным призывным обращением поэта:

«Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот —
Где ты, гроза — символ (свободы)?
Промчись поверх невольных вод» (II, 288).

Не перекликается ли этот призыв с эмоциональным обращением автора к Тереку в «Обвале»:

«Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои брега».

Обвалу ненадолго удалось остановить могучее течение Терека. Временное смирение быстро сменяется свирепой борьбой. «Терек злой» продолжает свой стремительный бег под ледяным сводом.

Я воздерживаюсь от далеко идущих выводов, от соблазна сопоставить картину, нарисованную в «Обвале», с той общественнной ситуацией, которая наступила в России после 14 декабря и которая так ярко охарактеризована в работе Герцена «О развитии революционных идей в России». Тупой абсолютизм, обрушившийся на первое поколение русских революционеров, прервал, казалось, движение вперед. «Россия с виду оставалась неподвижною», но внутри ее происходили глубинные процессы, «совершалась великая работа», кипели и клокотали «подземные» силы с очевидной решимостью пробраться наружу.

Однако, повторяю, воздерживаясь от прямых аналогий, следует подчеркнуть, что мятежный Терек и в «Обвале» выступает как символ непокорности и борьбы, олицетворяя движение и протест против тупого деспотизма. Апофеоз борющегося и побеждающего Терека и здесь звучит своеобразным гимном борьбе против угнетения и насилия.

Характерно, что буйное течение Терека противопоставляется мрачным скалам Дарьяла и в произведениях декабристов, Лермонтова, Александра Казбеги, Ильи Чавчавадзе и других прогрессивных писателей.

Лермонтов нашел свой кастальский ключ, по словам

Белинского, в свирепом Тереке. Признав в авторе «Даров Терека» великого наследника Пушкина, Белинский правильно заметил, что в этом стихотворении Лермонтова Терек и Каспий олицетворяют собой Кавказ, как самые характерные его явления.

В творчестве Лермонтова мы имеем по существу пушкинский апофеоз Терека. Вспомним следующие строки Лермонтова:

«С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов».

Описывая в своей юношеской поэме «Джюлио», написанной еще до приезда в Грузию, борьбу «молодого Терека» с обвалами, Лермонтов сравнивал его со свободным удалым горцем. Стихотворение Пушкина «Обвал» было напечатано в 1830 году, в том же году создана и поэма«Джюлио». Можно было бы почти с уверенностью сказать, что юношеская поэма Лермонтова навеяна «Обвалом», если бы в ее автографе не имелась приписка: «Я слышал этот рассказ от одного путешественника». Впрочем, одно другого не исключает.

Прославление бушующего Терека, рвущегося на волю из тесноты Дарьяльских скал, имеется и в «Демоне» Лермонтова. Показательно, что в описании казбегской природы все сосредоточено вокруг Терека: и горный зверь и птица глаголу вод его внимали, и золотые облака его на север провожали, и скалы над ним склонялись головой...

В духе Пушкина и Лермонтова рисуется образ Терека и в прогрессивной грузинской литературе. Если стихотворение Г. Орбелиани «Вечер разлук» только намечает, условно говоря, пушкинскую линию в изображении Терека, то в произведениях известных классиков грузинской литературы Александра Казбеги (кстати сказать, уроженца Казбегского района) и Ильи Чавчавадзе эта линия проступает совершенно отчетливо.

Александр Казбеги, один из выдающихся мастеров пейзажа, считал, что «природа хороша лишь тогда, когда в ней кипит сама жизнь, кипит во всем многообразии радостей и горестей»[1].

[1] А. Казбеги. Избранное, 1948, т. 1, стр. XVIII.

Он олицетворяет в Тереке неукротимую волю к борьбе против общественного зла и несправедливости. В рассказах «Цико» и «Циция» Терек сравнивается со львом. Скалы — «противники Терека» — испытывают на себе его неукротимую мощь. Отважный Терек, «как раненый лев», бесстрашно бьется о них своими бурными волнами, которые, гневно взлетая в воздух, опадают и рассыпаются легкой росой.

Более подробное, по сравнению с пушкинским, описание единоборства Терека с Бешеной Балкой (Куро) дал Казбеги в романе «Отцеубийца».

Следует также остановиться на образе Терека в творчестве великого грузинского писателя Ильи Чавчавадзе.

Илья Чавчавадзе вошел в историю грузинской культуры как вождь грузинских шестидесятников, которых прозвали — и это весьма характерно — «тергдалеулни»[1], «тересковцы». Это были грузинские юноши, воспитанные на традициях великой русской литературы и поднявшие знамя борьбы против феодально-патриархальной действительности и ее идеологии.

В своих «Записках проезжего» И. Чавчавадзе поет дифирамбы отважному Тереку, как символу борьбы, непокорности и прогресса.

«Много примечательного в тебе, в твоем могучем, непреклонном течении, непокорный наш Терек!» — восклицает И. Чавчавадзе[2]. Для него «Терек — это образ пробуждающейся человеческой жизни; волнующий и достойный пристального внимания образ: в его мутных водах пепел скорбей всей страны»[3].

Противопоставляя Терек вершине Казбека (Мкинвари), Чавчавадзе пишет: «Нет, не люблю я Мкинвари! Мкинвари напоминает мне великого Гёте, а Терек — буйного, неистового Байрона. Благо тебе, Терек! Ты прекрасен — мятежный, ты не ведаешь покоя. Остано-

---

1 «Тергдалеулни» — буквально: испившие воду Терека. Так называлась грузинская молодежь, получившая образование в России.

2 Илья Чавчавадзе. Избранное, 1947, Тбилиси, стр. 138.

3 Там же, стр. 147.

вись хоть на краткое мгновение — ты станешь зловонной трясиной, и твой угрожающий гул обратится в лягушиное квакание. Движение и только движение, мой Терек, дарует миру жизнь и силу...»[1]

Наконец, замечательно признание грузинского классика:

«Я чувствовал, что между моими мыслями и жалобой Терека существует какая-то тайная связь, некое гармоническое единство»[2].

Эти слова могли бы повторить и Пушкин, и Лермонтов, и декабристы, и А. Казбеги. Чавчавадзе как бы «раскрывает скобки» и обнажает мысли и чувства, заключенные в «Обвале» и других стихах о Тереке.

Пушкин, можно сказать, «открыл» Терек для русской и грузинской литературы. Но было бы ошибкой объяснять многочисленные произведения, прославляющие Терек, исключительно влиянием великого поэта.

Возьмем, например, описание Дарьяльского ущелья у Грибоедова: «Ночь в Дариеле. Ужас от необычайно высоких утесов, шум от Терека, ночлег в казармах»[3]. С первого взгляда может показаться, что это написано под влиянием стихотворения Пушкина о Дарьяльском ущелье:

«Страшно и скучно
Здесь новоселье,
Путь и ночлег,
Тесно и душно».

Сходство большое. Однако, как известно, оба произведения написаны независимо друг от друга и оба они были опубликованы лишь после смерти авторов. Так сходные по взглядам и настроениям писатели воспринимали и изображали один и тот же объект одинаково.

3

«Монастырь на Казбеке» — самое «спорное» стихотворение из кавказского цикла Пушкина. Оно состоит

---

[1] Илья Чавчавадзе. Избранное, 1947, Тбилиси, стр. 148.
[2] Там же, стр. 148—149.
[3] Грибоедов. Сочинения, 1945, стр. 383.

как бы из двух частей. В первой дана поэтическая картина монастыря, возвышающегося над облаками.

«Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами».

Под влиянием этого «чудного зрелища» у поэта возникает желание, выраженное во второй части стихотворения:

«Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..» (III, 200).

Отмечу прежде всего, что заглавие стихотворения не совсем точное. Пушкин описывает храм «Цминда-самеба» («Святая троица»), построенный не на Казбеке, а на вершине одного из его «вассалов».

Гигантское здание этого храма красуется на высокой горе, за спиной которой возвышается белоснежный великан Казбек (Мкинвари, или Кинварцвери — буквально: ледяная вершина), а ниже, на противоположной стороне — по ту сторону Терека — расположено село Казбеги.

Небезынтересно, что замечательное описание «Цминда-самеба» дал также грузинский классик А. Казбеги. В его романе «Хевисбери Гоча» читаем:

«Троицкий храм Самеба стоит на верхнем краю пологой поляны, спускающейся со склона Кинварцвери. Сверху поляну замыкает небольшая гора со стройной, округлой вершиной, а внизу — крутой обрыв спускается к Тереку, до самой деревни Гергети.

Гордо возвышается церковь из тесаного камня: рядом — колокольня и здание общинного совета. Сама природа обвела это место крепкой, прочной оградой, кое-где еще более укрепленной рукой человека.

Поблизости нет твердого камня, из которого построен храм, и речка бежит далеко внизу в лощине. К храму ведет извилистая тропинка, по которой даже пеше-

ходу нелегко подняться. Поэтому удивленно спрашиваешь себя: откуда и как доставлялся материал для такой прекрасной постройки? И, глядя на храм, понимаешь, какая могучая сила скрыта в единодушном, высоком порыве народном. В стене храма замурована мраморная плита, на которой ветры и ливни не успели еще стереть едва различимую надпись: «...Хари Лома... пастух Тевдоре...» — имена тех, которые, верно, отдали немало сил на построение памятника былого величия Хеви»[1].

Направляясь в Закавказье, Пушкин не видел этого храма, как и вершины Казбека, — мешала туманная погода. Но на обратном пути из Арзрума, в первых числах августа 1829 года, утром, проезжая мимо селения Казбеги, поэт увидел «чудное зрелище»: «Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» (VIII, 482).

Монастырь, так поэтически описанный Пушкиным, является не только украшением живописных мест, но и замечательным историческим и архитектурным памятником Грузии. По надписям на стенах, по местным преданиям и архитектурным особенностям можно догадаться, что храм этот был возведен не позже XIV века.

В этом храме вплоть до XIX века было своего рода «вече» (сабчо), где решались важнейшие вопросы Казбегского района. Это замечательно описано в произведениях Александра Казбеги[2].

Таков тот «монастырь», яркую картину которого дал Пушкин с присущим ему лаконизмом. Всего в шести строках великий мастер смог дать живую, ясную, рельефную художественную картину.

Еще Белинский указал, что почвой поэзии Пушкина всегда была живая действительность и плодотворная идея. Отмечая отсутствие в Пушкине «отвлеченной идеальности» Жуковского, Н. В. Гоголь ссылался именно на стихотворение «Монастырь на Казбеке». В Пушкине,

---

[1] А. Казбеги. Избранное, 1948, т. 1, стр. 23—24.
[2] См. например, его роман «Хевисбери Гоча» (Избранное, 1948, т. 1).

по словам Гоголя, «все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногоглаголив на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношения оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразил вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворение оканчивает он сим внезапным обращением:

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!

Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выражения, как Пушкин»[1].

Холодная прелесть аскетизма, по словам Белинского, была чужда Пушкину. Были в жизни поэта минуты, когда ему хотелось уйти от людей куда-нибудь «в заоблачную келью», но он всегда помнил долг «семьянина и гражданина».

Во второй половине стихотворения, на мой взгляд, имеются мотивы, напоминающие «Кавказ», «Обвал» и другие произведения Пушкина, в которых бушующий Терек и сияние солнца противопоставляются «тюремной» тесноте Дарьяла и «грозным» обвалам.

В «Монастыре» положение поэта, его угол зрения совсем иные, чем в «Кавказе» — он находится в том самом «ущелье мрачных скал», которое в его стихах сравнивается с тюрьмой. Из этого «дикого ущелья», где «страшно и скучно», где «тесно и душно», где «солнцу обидно», поэт рвется к лучезарной «вольной вышине».

---

[1] Н. В. Гоголь. Собр. соч., 1953, т. VI, стр. 153.

Как «Терек злой» стремится из «клетки железной» на простор, как лермонтовский Мцыри рвется из монастырской кельи на свободу, так и пушкинский лирический герой стремится из душного ущелья к воле, свету, высоко «над семьею гор».

«Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к вольной вышине!»

Некоторые пушкиноведы, не обратившие внимания на эти самые важные строки, усмотрели «мистические мотивы» в стихотворении на основе его концовки:

«Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!»

Но не трудно догадаться, что это — просто художественный прием, живописное средство, а не религиозный образ. Весьма показательно, что почти одновременно с «Монастырем на Казбеке» (осенью 1829 года) Пушкин пишет стихотворение «Легенда» («Жил на свете рыцарь бедный»), являющееся едкой пародией на мистическую лирику.

Итак, Пушкин созерцал природу, говоря словами Белинского, удивительно верно и живо. Он был великим мастером реалистического пейзажа. Природа Грузии предстала в его поэзии во всем блеске своего величия, как бы в своем «натуральном виде», в своих «естественных голосах и красках». Картины природы даны у Пушкина в жизненно-ясных образах, пластично, зримо, правдиво-художественно. Он верен природе. К нему, пожалуй, больше, чем к кому-либо другому, применимы слова Гейне о том, что природа пожелала узнать, как она выглядит и создала Гёте, в произведениях которого она ярко и верно отразилась.

Белинский справедливо заметил, что «если с кем из великих европейских поэтов Пушкин имеет некоторое сходство, так более всего с Гёте, и он еще более, нежели Гёте, может действовать на развитие и образование чувства... он больше, нежели Гёте, верен художественному своему элементу».

Однако великий критик, на мой взгляд, ошибался, когда утверждал, что Пушкин не углублялся «в тай-

ный язык» природы, что он рисовал ее, но не мыслил о ней, что русский поэт «просто изображал» природу, в то время как «для Гёте природа была раскрытая книга идей» (VII, 350—351).

Пейзаж у Пушкина отличается правдивостью, наглядностью и глубокой идейностью, социальным звучанием, иносказательностью, определенной целеустремленностью.

«Сын природы», как себя назвал Пушкин[1], обладал глубоким чувством природы, ощущал свое «родство» с нею и любил ее какой-то задушевной, интимной любовью.

Верно и зримо передавая картины природы, поэт нередко превращал их в средство выражения своих мыслей и настроений, общественных идей. При этом он брал из окружающей природы такие явления, которые, будучи сами по себе весьма значительными объектами поэтического изображения, одновременно могли служить материалом для аналогии с общественной жизнью. Пушкин приводил в гармоническое соответствие «объективное» и «субъективное», реалистическое и символическое; обе стороны — прямая и подразумеваемая — гармонично сливались в единое целое: правдиво нарисованная картина содержала определенную идею и согревалась чувством, лиризмом. Общественная идея, мысль автора выступали не в виде голой тенденции, а воплощались в художественно-реалистическую образную систему. Поэт вкладывает в эти картины «душу живу», воодушевляющий пафос. Терек у Пушкина не только зрительно воспринимаемый художественный образ, но и лирический и социально обобщенный.

Следует подчеркнуть, что взгляды и чувства автора проявляются не только в отборе и конструкции соответствующих образов, но и в виртуозной инструментовке, в поразительной звукописи, передающей «подводное течение», «живой голос» поэта и создающей определенное настроение у читателя.

---

[1] В стихотворении «К моей чернильнице».

Терек как бы олицетворяет не только пушкинское неугасимое стремление к свободе, но и вообще борьбу против деспотизма и угнетения, так же как Дарьяльское ущелье, сравниваемое поэтом с железной клеткой и тюрьмой, олицетворяет весь николаевский режим, сковывавший всякое проявление живой мысли и державший сотни людей в темницах.

Гимн борющемуся Тереку имеет, таким образом, глубокий идейный смысл.

ПУШКИН И «ТИФЛИССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Сообщая о своем двухнедельном пребывании в Тбилиси, Пушкин в «Путешествии в Арзрум» писал: «С[анковский], издатель Тифлисских ведомостей, рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о к[нязе] Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. С[анковский] любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность» (VIII, 457). А в конце путевого очерка Пушкин, при описании своего пребывания в Арзруме, с удовольствием вспоминает о вечерах, проведенных с «умным и любезным» заместителем издателя «Тифлисских ведомостей» декабристом В. Д. Сухоруковым. «Сходство наших занятий, — пишет Пушкин, — сближало нас» (VIII, 479).

За этими скупыми словами скрывается интереснейшая история взаимоотношений великого поэта с руководителями тбилисской газеты.

1

Вскоре после отъезда Пушкина из Грузии, 13 января 1830 года, в Тбилиси прибыл фельдъегерь с секретным приказом Николая I немедленно арестовать Василия Дмитриевича Сухорукова, опечатать все его бумаги и вывезти из Грузии.

Повеление царя было исполнено в тот же день. Карета умчала Сухорукова на место новой ссылки — через Дон в далекую и суровую Финляндию, а его опечатанные бумаги были отправлены в Петербург, в главный штаб военного министерства.

Ни современники, ни потомки не знали причины столь поспешного ареста и ссылки Сухорукова, находившегося в Грузии под надзором полиции. Сам Сухоруков упорно скрывал от всех тайны своей жизни, говоря, что унесет их с собой в могилу. Сухоруков умер в 1841 году, и казалось, что вместе с ним были похоронены и его тайны.

Однако некоторые лица, заинтересованные загадочным арестом Сухорукова, начали строить различные предположения и догадки о причинах новой кары, постигшей его. При этом они искали объяснения, главным образом, в биографии Сухорукова. Богатое и не совсем ясное прошлое этого человека давало обильную пищу для всяких предположений.

В. Д. Сухоруков в 1815 году окончил Харьковский университет со степенью кандидата прав, после чего в течение шести лет служил в различных войсковых учреждениях на Дону, у себя на родине. В начале 1821 года Сухоруков был привлечен к работе комитета по выработке Положения о Войске Донском, возглавлявшегося полковником (впоследствии генерал-майором) И. Ф. Богдановичем. Член комитета генерал-адъютант А. И. Чернышев, будущий граф и военный министр, обратил внимание на блестящие способности, обширные познания и трудолюбие молодого Сухорукова и поручил ему собирание материала для исторического и статистического описания Донской области.

Сухоруков взялся за дело горячо, проявив исключительную трудоспособность и исследовательский талант. Особенно упорно, с подлинной страстью исследователя, работал он после переезда в Петербург (в начале 1822 года) на службе у Чернышева — в канцелярии главного штаба. В столице он сблизился с крупными историками: Строевым, Карамзиным, Малиновским, Калайдовичем и другими. Здесь же он установил дружеские связи с Рылеевым, А. Бестужевым и другими выдающимися деятелями Северного общества, а вместе с декабристом А. О. Корниловичем, видным журналистом и ученым, издавал исторический альманах «Русская старина», где, между прочим, поместил свое исследование — «Общежитие донских казаков в XVII—XVIII столетиях».

Статьи Сухорукова по истории Дона, печатавшиеся

в 1823—1825 годах в различных периодических изданиях, свидетельствовали о замечательных способностях и эрудиции этого первого крупного историка Дона и пользовались большой популярностью в передовых кругах России. В своей «Истории Пугачева» Пушкин ссылается на одну из его статей («О внутреннем состоянии донских казаков в конце XVI столетия»), напечатанную в «Соревнователе просвещения» в 1824 году, а Бестужев-Марлинский писал, что исторические очерки Сухорукова и Корниловича «любопытны, живы, занимательны. Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают свое безличие и обращаются к родным, старинным источникам»[1].

Однако именно в период блестящей научно-литературной деятельности, в 1825 году, Сухоруков был вынужден покинуть Петербург и вернуться на Дон. Это явилось началом его «загадочного падения», началом бесконечных преследований его со стороны Чернышева, Бенкендорфа и других «государственных тузов».

Продолжая работать в комитете Богдановича на Дону, опальный Сухоруков находился под постоянным тайным полицейским надзором. Царские шпионы не спускали с него глаз и ежемесячно доносили в столицу о его поведении.

В 1826 году Богданович приказал Сухорукову продолжать составление истории Дона, с тем, однако, непременным условием, что через каждые две недели он вчерне будет доставлять в комитет все написанное, а также «ведомость всем выпискам из государственного архива и других мест».

Вслед за этим, в 1827 году, последовало новое строгое повеление Богдановича Сухорукову — сдать в «самократчайшем времени» все хранящиеся у него архивные документы. При этом Богданович требовал «чистосердечно и откровенно» объяснить ему, не были ли использованы эти документы самим Сухоруковым, или выданы кому-либо копии с них, или не передавались ли они «в оригинале какому-либо лицу по службе или партикулярно».

---

[1] Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов («Полярная звезда», 1825).

Сухорукова грозно предупредили, что в случае неполной откровенности, утайки, удержания у себя какой-либо части этих материалов он будет нести «строжайшую ответственность перед высшим начальством»[1].

Летом того же года у Сухорукова отобрали все бумаги, а его самого сослали в Грузию под надзор полиции. Здесь Сухоруков, с помощью влиятельных лиц, причастных к декабризму, начинает играть видную роль: пишет историю русско-турецкой войны, приступает к созданию истории Грузии[2], становится заместителем главного редактора «Тифлисских ведомостей». Но в это время его неожиданно арестовывают и ссылают в Финляндию.

Необходимо остановиться на предположениях относительно причины ареста Сухорукова, поскольку они проливают свет на некоторые стороны его жизни и деятельности..

Одни из авторов искали причины новой кары, постигшей Сухорукова, и вообще всех бед, обрушившихся на него с 1825 года, в том, что он будто занял противоположную Чернышеву позицию в вопросе о преобразовании Войска Донского, представив свои возражения на его проект, и даже организовал оппозиционную группу на Дону — нечто вроде тайного политического общества, стремившегося к демократическому самоуправлению и реставрации прежних казацких вольностей. По мнению одного из мемуаристов, общество это осталось невыясненным при следствии о декабристах, но Чернышев, увидев в Сухорукове врага своих проектов, начал преследовать и травить его[3].

В этом утверждении есть, конечно, доля правды, но это еще не вся правда, а главное — оно не раскрывает непосредственной причины ареста и нового изгнания Сухорукова в 1830 году.

---

1 См. А. Линин. «А. С. Пушкин на Дону», Ростов, 1941, стр. 97—98.

2 См. там же, стр. 155; ср. А. Фадеев. «Декабристы на Дону и на Кавказе» 1950; К. Г. Черный. «Пушкин и Кавказ», 1950, стр. 65.

3 «Русская старина», 1879, июль, стр. 446—447; «Древняя и новая Россия», 1877, № 9, стр. 90.

Другие предполагали, что Сухоруков попал в опалу из-за «прикосновенности к делу о злоумышленном тайном обществе». Предположение это сразу же встретило возражение со стороны декабриста Д. Завалишина, который решительно заявил, что если бы общение Сухорукова с людьми 14 декабря было непосредственной причиной его опалы, то это должно было бы произойти или в конце 1825 года или в начале 1826 года, во время следствия, раскрывшего отношение и тесные связи многих лиц с декабристами.

«Дело Сухорукова, — продолжает Д. Завалишин, — известно мне из самого надежного источника. Тайна преследования, постигшего Сухорукова, о которой он думал, что унес ее в могилу, или другие так думали, была слишком хорошо известна Корниловичу, а через него и мне»[1].

Д. Завалишин утверждает, что Сухоруков пострадал из-за дружбы с декабристом А. О. Корниловичем, издававшим альманах «Русская старина» и имевшим доступ к тайным фондам государственных архивов. Корнилович, якобы, работая в архивах, получил копии документов, являвшихся величайшей государственной тайной. После событий 14 декабря правительство, опасаясь «употребления во зло этих копий», разыскивало их как в бумагах Корниловича, так и его друзей, в том числе и Сухорукова, но нигде ничего не нашло.

По этому поводу Е. Вейденбаум заметил: «Если дело происходило именно так, то объяснение Завалишина решительно ничего не объясняет в истории ареста и ссылки Сухорукова»[2].

Однако Вейденбаум в свою очередь дает неправильное освещение вопроса, допуская по крайней мере две ошибки:

Он почти отрицает принадлежность Сухорукова к декабристам. Под «прикосновенностью» Сухорукова к их делу, по словам Вейденбаума, «не должно разуметь какое-либо, хотя бы и самое незначительное участие в замыслах тайных обществ».

---

1 «Древняя и новая Россия», 1878, № 6, 170—171.

2 Е. Вейденбаум. Кавказские знакомые Пушкина («Пушкин и его современники», вып. VIII, 1908).

Документы, опубликованные в советское время, опровергают это мнение Вейденбаума. В своих показаниях на следствии К. Рылеев и А. Бестужев сознались, что «они в 1825 году открыли Сухорукову о существовании тайного общества, имевшего целью введение в России конституционного правления. Сухоруков отвечал, что он давно сие подозревал». Сухоруков, оказывается, просил Рылеева и Бестужева «о содействии общества к распространению на Дону просвещения посредством заведения училища, на что они отвечали обещанием постараться. Александр Бестужев присовокупил, что вообще видно было, что Сухоруков воображал найти в обществе значущих людей, которые могли бы иметь влияние на его родину, и вся цель — доставить землякам просвещение, а Рылеев искал в нем содействия здешних эскадронов»[1].

Весьма интересно замечание Д. Завалишина о том, что среди арестованных декабристов «разговор не раз касался того, были ли аресты на Дону... и не арестован ли Сухоруков»[2].

Правительство оставило Сухорукова на свободе под бдительным надзором. Находясь на Дону, он подвергался, как мы знаем, преследованиям и травле. Таким образом, вопреки утверждению Вейденбаума, нет никакого основания сомневаться в причастности Сухорукова к декабризму, но причиной его ареста и ссылки в 1830 году послужило не это обстоятельство.

Вейденбаум называет следующую причину: до Петербурга дошли слухи, будто после окончания войны с Турцией в Тбилиси скопилось много декабристов, занявших, по причине попустительства начальства, не подобающие им места по службе и начавших играть в обществе большую роль; царю стало известно, продолжает Вейденбаум, что Сухоруков, по поручению Паскевича, составляет историю русско-турецкой войны 1828—1829 годов, и он «высочайше повелеть соизволил» выяснить, на каком основании это делается. Вейденбаум приводит известное объяснение Паскевича от 16 января 1830 года на имя Чернышева.

---

1 Восстание декабристов, т. VIII, стр. 182.

2 «Древняя и новая Россия», 1878, № 6, стр. 172.

«В числе бумаг, — писал Паскевич, — опечатанных у сотника Сухорукова, находится историческое описание войны 1828 и 1829 годов, составленное им по моему приказанию. Употребление Сухорукова к такому поручению, когда он, как известно, замешан в происшествии 14 декабря и находится под секретным надзором, не должно удивлять вас, ибо в одинаковом с ним разряде находились многие служившие при мне, как-то: г.-м. Бурцов, полковник Леман, поручик Пущин, Искрицкий и полковник Вольховский были в замечании. Не имея других, которые бы с пользою употреблены быть могли, я, по малому числу людей в сем корпусе способных, принужден был давать поручения мои сего рода чиновникам. Таким образом, и Сухоруков употребляем был сначала г.-м. бароном Остен-Сакеном по канцелярии начальника штаба, а потом, год тому назад, я поручил ему составление исторических записок кампании 1828 и 1829 годов»[1].

Итак, по мнению Вейденбаума, Сухоруков в Тбилиси был арестован, обыскан и сослан по той причине, что он, по поручению начальства, писал историю «кампании 1828—1829 гг.».

Как бы уточняя и дополняя эту версию, М. Юзефович говорит, что Паскевич был сильно оскорблен поступком вспыльчивого Чернышева, но при всем желании ничего не мог сделать в пользу своего подчиненного Сухорукова[2].

Однако эти утверждения, при всей их кажущейся убедительности, ошибочны. Письмо Паскевича Чернышеву является не ответом на запрос царя о причинах занятий Сухорукова военной историей, а заблаговременным разъяснением, рассчитанным именно на предотвращение такого запроса. Дело в том, что в числе опечатанных и забранных в Петербург бумаг Сухорукова имелись и записки о русско-турецкой войне, составленные по поручению Паскевича. Последний, предвидя, что это «открытие» в Петербурге вызовет недовольство высшего начальства, что от главноуправляющего Грузией могут потребовать объяснения по поводу найденных бумаг, за-

---

1 Щербатов. Паскевич, 1891, т. III, стр. 328—329.
2 Пушкин в воспоминаниях современников, 1950, стр. 392.

ранее пишет свое объяснение. При этом следует отметить, что, стараясь оправдаться, Паскевич вовсе не покровительствует и не помогает Сухорукову. Наоборот, в черновике его письма имеются слова (зачеркнутые), которые вообще могли погубить как Сухорукова, так и других декабристов. Вот эти слова: «Многие из них (декабристов. — **В. Ш.**) не оставили прежних своих мыслей».

Документы о подлинной причине ареста и ссылки Сухорукова в 1830 году были похоронены в инспекторском департаменте военного министерства, где они пролежали свыше ста двадцати лет.

Ознакомление с этими документами (они недавно были обнаружены мною), а также с комплектом «Тифлисских ведомостей» вводит в широкий и сложный круг интереснейших вопросов, связанных с сотрудничеством разжалованных декабристов в газете «Тифлисские ведомости».

2

Издание «Тифлисских ведомостей» было задумано в 1827 году. До этого в Грузии выходила лишь «Картули газети» («Грузинская газета», 1819—1821 гг.) — первое в истории грузинской прессы периодическое издание. Но оно заполнялось главным образом официальными сообщениями.

Настоящей, большой и многогранной газетой были «Тифлисские ведомости». Вначале они выходили в неделю раз, в четыре страницы обыкновенного формата. Но с 1831 года газета постепенно превращается в двухнедельный общественно-литературный журнал. В 1832 году он называется уже «Тифлисские ведомости. Отделение литературное».

В главных отделах газеты — внутреннем и иностранном — помещались, помимо официальных материалов, художественные произведения, этнографические очерки, статьи исторического и публицистического характера. В первый же год издания (1828) тираж газеты достиг огромного для того времени количества экземпляров: 1.200. О популярности и большом успехе «Тифлисских

ведомостей» свидетельствует и то обстоятельство, что многие статьи, помещенные в них, тогда же привлекли внимание столичной прессы; их перепечатывали «Московский телеграф», «Русский инвалид», «Московские ведомости», «Дамский журнал» и другие органы печати.

Одним из организаторов «Тифлисских ведомостей» был, по всей вероятности, Грибоедов, игравший тогда вообще большую роль и имевший влияние на Паскевича, от имени которого он часто составлял всякие проекты, поскольку, как известно, главноначальствующий не отличался грамотностью. Заслуживает быть отмеченным такой факт: рапорт Паскевича графу Дибичу «об учреждении в Тифлисе периодического издания», то есть просьба о разрешении на издание «Тифлисских ведомостей», написан в лагере при Карабабе 31 июля 1827 года — через несколько дней после возвращения Грибоедова в этот лагерь из поездки к Аббас-Мирзе на переговоры о перемирии.

Значительную роль в организации газеты сыграли, несомненно, близкие Грибоедову и декабристам лица — военный губернатор Н. М. Сипягин (друг и зять Никиты Всеволодовича Всеволожского), Р. И. Ховен, С. Г. Чиляев (Чилашвили), передовой журналист П. С. Санковский и другие.

В октябре 1827 года поступило разрешение на учреждение периодического издания в Грузии, после чего Н. М. Сипягиным был представлен проект, по которому «Тифлисские ведомости» должны были издаваться под руководством и «строгим надзором» самого Сипягина (при его отлучке из Тбилиси руководство газетой возлагалось на гражданского губернатора Р. И. Ховена). По этому проекту издание газеты поручалось «особому комитету», в который входили: чиновник Н. Палавандов (Палавандишвили), Санковский, полковник Бебутов (переводчик), штабс-капитан Сумбатов и поручик С. Чиляев (Чилашвили) — адъютант Сипягина[1].

Первый номер «Тифлисских ведомостей» вышел 4 июля 1828 года (последний — в марте 1832) на русском и грузинском (а позже и на фарсийском) языках как официальный орган. В упомянутом уже рапорте Паскевича

---

1 См. ИР, ф. Вейденбаума, № 367.

Дибичу специально подчеркивалось, что задуманное издание, «быв удалено от всякой политической цели, вмещало бы только: официальные известия, разные объявления, главные общие новости для края любопытнейшие и вообще всякие сведения, согласные с видами правительства»[1].

В начале 1829 года были утверждены «новые правила», по которым газета отдавалась почти в полную собственность «избранному от правительства непременному редактору на определенный срок и на известных условиях». Руководство газетой было возложено на П. С. Санковского.

«Принимая в уважение, — говорится в этом документе, — что издание «Тифлисских ведомостей» поставлено на ту ступень, на которой ныне находится трудами и заботливостью... Санковского, коим составлены и приведены в действие все предположения по сему полезному учреждению, он назначается непременным редактором на пять лет: считая с 1-го генваря настоящего 1829 года по 1-е генваря тридцать пятого».

«Новые правила» предоставляли Санковскому весьма широкие права, в частности «право избрать себе, по своему усмотрению, товарища по русскому изданию и редакторов для издания «Тифлисских ведомостей» на грузинском и фарсийском языках и заключить с ними по обоюдному согласию, какие заблагорассудит, условия».

В одном из пунктов «новых правил» подчеркивалось: «Комитет издания «Тифлисских ведомостей», со дня утверждения сих правил, будет составлен из следующих членов: товарищ непременного редактора и азиатские редакторы на фарсийском и грузинском языках».

Весьма любопытны 25 и 26 пункты этого документа. В них говорится:

«В случае нечаянной смерти (от чего боже сохрани) непременного редактора надворного советника Санковского, издание сие, с правами и обязанностями, здесь изложенными, переходит к товарищу его на основании тех условий, которые они между собою заключат для подобного непредвиденного случая.

---

[1] ИР, ф. Вейденбаума, № 367, л. I, ср. ЦГИАТ, ф. 16, № 3823.

Предоставляется также Санковскому, если по истечении означенного здесь срока потеря здоровья или домашние обстоятельства не дозволят ему продолжать сие издание, передать свои права другому, на каких заблагорассудит условиях, лишь бы оные не были противны сим правилам. Сверх того в таком случае он обязан донести главному начальству сего края о том лице, которому передает свое право, и тогда только может уступить сие издание, когда главное начальство не встретит никакого препятствия в том, чтоб новый редактор принял на себя сию обязанность».

Предоставляя таким образом Санковскому почти неограниченные права частного издателя, начальство, однако, строго запрещало ему «избирать себе в сотрудники людей, по какому-нибудь поводу лишенных доверия правительства»[1].

Несмотря на такое категорическое предупреждение, Санковский избрал своими заместителями: по грузинской части — одного из самых передовых деятелей тогдашней Грузии Соломона Ивановича Додашвили, а по русской части — поднадзорного Василия Дмитриевича Сухорукова, причастного к декабризму.

В архиве сохранились любопытные «условия, заключенные по изданию «Тифлисских ведомостей» между непременным редактором оных г-ном надворным советником Санковским и избранным им товарищем Донских войск сотником Василием Сухоруковым»[2].

В этом договоре, заключенном 25 февраля 1829 года, говорится, что «Сухоруков принимает участие в издании «Тифлисских ведомостей» в продолжение всего пятилетнего срока, на который отдано издание в полное распоряжение непременному редактору г. надворному советнику Санковскому», что «участие в русском издании определяется преимущественно пособием в трудах литературных, именно: Сухоруков обязывается доставлять главному редактору для каждого номера статьи собственного сочинения и переводы, или приобретенные от его знакомых, кои также входят в круг, предназначен-

---

1 ИР. ф. Г. Туманишвили. № 246-а, л. 6.
2 ЦГВИА, ф. 36, оп. 7/850, св. 53, № 117, лл. 22—25.

ный для тифлисской газеты, и кои по своему содержанию были бы достойны напечатания в оной».

Далее из договора узнаем, что в случае отлучки Санковского из Тбилиси его будет заменять Сухоруков, а «в случае нечаянной смерти непременного редактора, буде он не сделал никакого завещательного распоряжения, его товарищ заступает его место».

Возникает вопрос, каким образом удалось поднадзорному Сухорукову добиться руководящей роли в газете?

Этому, несомненно, способствовали благоприятно сложившиеся условия. Как отмечено выше, организаторами «Тифлисских ведомостей» были, главным образом, близкие декабристам лица, занимавшие в Грузии «командные посты».

Сухорукову удалось занять в редакции «Тифлисских ведомостей» руководящее положение, по-видимому, не без рекомендации Грибоедова, всячески помогавшего ссыльным.

Один из современников свидетельствует: «На Кавказе Сухоруков познакомился с Грибоедовым и, по его рекомендации, поступил для особых поручений к Дмитрию Ерофеевичу Остен-Сакену, а от него к Паскевичу»[1].

Это показание вызвало замечание декабриста Д. Завалишина: «Мы не думаем, чтобы знакомство Грибоедова и Сухорукова началось только с Кавказа; Грибоедов в Петербурге жил у Александра Ивановича Одоевского (где мы и списывали под диктовку разом двадцать копий «Горя от ума») и находился постоянно в том же кругу декабристов, как и Сухоруков. Когда Грибоедов был арестован и содержался в здании главного штаба, вместе со мною, Синявиным (сыном адмирала), братьями Раевскими, Шаховским, Мошинским и др., то разговор не раз касался того, были ли аресты на Дону (Чернышев был при кончине государя в Таганроге) и не арестован ли и Сухоруков»[2].

Однако решающую роль в вовлечении Сухорукова в работу редакции сыграл, без сомнения, сам П. С. Санковский — главный редактор «Тифлисских ведомостей».

1 «Древняя и новая Россия», 1877, № 9, стр. 90.
2 Там же, 1878, № 6, стр. 172.

Пользуясь предоставленными ему широкими правами, он нарушает указание начальства — «не избирать себе в сотрудники людей, по какому-нибудь поводу лишенных доверия правительства». Уже один этот факт не может не вызвать большого интереса к личности Павла Степановича Санковского[1]. Его политический облик не совсем ясен. Некоторые исследователи относились к нему с известным скептицизмом по той причине, что в юном возрасте он служил в министерстве полиции. Однако этот факт сам по себе ничего не говорит о политических убеждениях Санковского. Выясняется, что из министерства полиции он был уволен в 1820 году и перешел в государственную комиссию погашения долгов. Желая служить в Грузии, Санковский подал прошение Ермолову, и последний, зная его «с хорошей стороны», взял к себе.

С 1823 года Санковский выполняет в Грузии различные поручения по собиранию архивных материалов, «описанию провинций», составлению карт и т. д. Для характеристики его социального и морального облика небезынтересны следующие факты. В Грузии он женился на девушке («по крещению Мария Павловна»), которая была взята «в плен из-за Кубани». П. С. Санковский спас пленницу от полковника Краковского, державшего ее «против воли».

После смерти П. С. Санковского его жена с трехлетней дочерью находилась в «крайней бедности, ибо умерший муж... кроме значительных долгов, не оставил ей никакого состояния и она со времени смерти [Санковского] жила в отдаленности от города благодеяниями родственников покойного»[2].

За долгое время своего пребывания в Грузии П. С. Санковский хорошо изучил и полюбил этот край, заслужил уважение и любовь передовых людей.

---

[1] По формулярному списку, в 1832 году (год его смерти) ему был 31 год (ЦГИАТ, ф. 2, оп. I, № 1271).

[2] Одним из родственников, оказывавшим ей помощь, был по-видимому, родной брат покойного — Андрей Степанович Санковский (1799—1857), служивший в Грузии с 1826 года в чине поручика Кавказской артиллерийской бригады. Он был женат на Тамаре Яковлевне Орбелиани (картотека Вейденбаума в ИР; ср. ЦГИАТ, ф. 2, оп. I, № 3271).

Установлено, что Санковский был связан с Пушкиным, Грибоедовым, Бестужевым-Марлинским, Сухоруковым, декабристами, а также с Додашвили, Бакихановым и другими замечательными деятелями того времени.

О передовых убеждениях Санковского свидетельствует и ряд его очерков, стихов и статей, помещенных в «Тифлисских ведомостях». С декабристами его сближала определенная общность взглядов и настроений. Вероятно, поэтому он и пошел на известный риск, избрав своим «товарищем» опального Сухорукова.

3

Выясняется, что декабристам, сосланным в Грузию, удалось приобрести фактическое руководство в газете «Тифлисские ведомости», широко вовлечь в ее работу причастных к декабризму литераторов и повести на ее страницах борьбу против реакционной журналистики. Это и послужило, как увидим ниже, причиной ареста Сухорукова.

Невозможно установить точно круг сотрудников «Тифлисских ведомостей», так как материалы в них печатались большей частью без подписей.

Например, В. Д. Сухоруков, по условиям договора, заключенного с Санковским, снабжал каждый номер «Тифлисских ведомостей» литературными статьями, но из его многочисленных корреспонденций лишь две-три подписаны инициалами «В. С.» и только одна — полным его именем.

«Непременный редактор» газеты П. С. Санковский публиковал свои статьи и стихотворения, как правило, также анонимно или за подписью «П. С...кий».

В феврале 1829 года в «Тифлисских ведомостях» (№№5 и 6) появились без подписи письма из Карса. Как выясняется, они принадлежали перу разжалованного декабриста Евдокима Емельяновича Лачинова. В этом легко убедиться при сравнении писем с «Исповедью» Лачинова, публикация которой началось в 1876 году в «Кавказском сборнике».

В газете сотрудничал также сосланный в Грузию «прикосновенный» Иван Григорьевич Бурцов. Критиче-

ская статья за подписью «полковник Бурцов» напечатана в «Тифлисских ведомостях» от 16 октября 1828 года.

На страницах «Тифлисских ведомостей» ни разу не встречается фамилия популярнейшего писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского, хотя он был одним из деятельных сотрудников этой газеты. Некоторые его произведения впервые были опубликованы именно в «Тифлисских ведомостях» и потом уже — в столичной прессе. Так, например, в начале 1831 года в разделе «Изящная словесность» было помещено «Красное покрывало» А. А. Бестужева-Марлинского за подписью «А. Б.» и с пометкой в конце «Дагестан. 1831». Вслед за этим в «Тифлисских ведомостях» без подписи публикуется его произведение «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев» с продолжением в девяти номерах, причем рассказ этот занимал в каждом номере центральное место как по размеру, так и по значению.

Полагаю, что и стихотворение «Солдатская песня», помещенное в газете от 16 августа 1829 года за подписью «А. Б...в» и перекликающееся с известными «солдатскими песнями» Рылеева-Бестужева, принадлежит А. А. Бестужеву[1].

Сведений о сотрудничестве других декабристов в «Тифлисских ведомостях» не имеется. Но нет сомнения, что многие статьи, авторы которых не названы или скрываются под псевдонимами, принадлежат декабристам. Санковский и Сухоруков, имевшие живые связи с широким кругом разжалованных декабристов, вовлекли их, как передовых и культурных людей, в работу ре-

---

[1] Известно, что в 1819 — 1832 гг. А. А. Бестужев-Марлинский нередко публиковал свои произведения за подписью «А. Б» (см. И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов. т. I. 1956, стр. 31). Об участии Бестужева-Марлинского в «Тифлисских ведомостях» знали и его современники, как друзья, так и враги. «Знаете ли, — писал Н. Полевой А. А. Бестужеву 25 сентября 1831 года, — что все знают каждую вашу строчку? Западает ли она в болото Тифлисских ведомостей, садят ли в помещичий огород Греча или является она в Телеграфе, все равно она узнана и оценена». («Известия по русскому языку и словесности» АН СССР, 1929, т. II, кн. I, стр. 211.) См. также газету «Северная пчела», 1834, № 215 и статью М. П. Алексеева — «Пушкин и Бестужев» («Пушкин и его современники», вып. XXXVIII — XXXIX, стр. 248 — 249).

дакции. Можно с уверенностью сказать, что основное ядро сотрудников «Тифлисских ведомостей» составляли ссыльные, обусловившие, говоря словами Пушкина, «своеобразное направление» газеты.

Не ставя перед собой цели рассмотреть газетный материал разных жанров на разные темы, я коснусь лишь некоторых полемических статей, направленных против реакционной журналистики.

Знаменательно, что критический огонь «Тифлисских ведомостей», насколько позволяли условия, был направлен против реакционной прессы столицы.

«Тифлисские ведомости» брали «на прицел» в первую очередь печатные органы Булгарина и Греча. Известно, что в конце двадцатых годов «Сын отечества» Греча слился с «Северным архивом» Булгарина, а с 30-х годов они совместно начали издавать и редактировать газету «Северная пчела», основанную Булгариным еще в 1825 году при помощи Аракчеева.

Хотя «Северная пчела» считалась их частной газетой, но фактически после декабрьских событий она стала полуофициальным правительственным органом. Являясь агентом третьего отделения, Булгарин писал доносы на прогрессивных писателей, травил и преследовал их. Работа «Северной пчелы» направлялась шефом жандармов Бенкендорфом. Последний обеспечивал Булгарину монопольное положение в столичной прессе, в ряде случаев участвовал в расходах редакции, постоянно защищал ее от нападок со стороны передовых журналов.

В этих условиях бороться с булгаринской журналистикой означало бороться за независимую прессу, за передовые идеи, против реакционной правительственной политики. Литературная борьба, таким образом, была в данном случае политической борьбой. В Петербурге ее вели Пушкин и его друзья, в Грузии — ссыльные декабристы.

Дискуссию против реакционных газет столицы в Грузии открыл И. Г. Бурцов в первый же год издания «Тифлисских ведомостей». 16 октября 1828 года он выступил в газете с письмом «К издателям С.-Петербургских газет», в котором критиковал «Русского инва-

лида» и «Северную пчелу» за допущенные ошибки в описании боев при Ахалцихе. Бурцов осуждал легкомысленных издателей «Северной пчелы», перепутавших и дату штурма Ахалцихе, и названия полков, участвовавших в сражениях, и другие факты.

Будучи командиром Херсонского полка, Бурцов прекрасно знал все подробности ахалцихских боев, так как за все время осады крепости руководил траншейно-инженерными работами. Он был в числе первых героев, штурмовавших крепость 15 августа 1828 года.

Бурцов указывал, что почти все события, связанные со взятием Ахалцихе, «Северная пчела» и «Русский инвалид» преподнесли публике в искаженном виде[1].

Против булгаринской «Северной пчелы», поместившей безответственную корреспонденцию И. Радожицкого о русско-турецкой войне, выступил и В. Д. Сухоруков[2].

Хотя Сухоруков полемизировал с «Северной пчелой» по вопросам, будто бы не имевшим отношения к политике, но и описание военных действий, не подлежащих обсуждению без разрешения правительства, и резко решительный тон Сухорукова, и самый факт открытого (за своей подписью) выступления ссыльного декабриста против печатного органа третьего отделения — все это не могло не вызвать в правительственных кругах столицы бурной реакции.

Было решено положить конец «возмутительным выступлениям» Сухорукова. Фельдъегерь, прибывший из Петербурга в Тбилиси в январе 1830 года, передал Паскевичу следующий секретный рапорт управляющего главным штабом:

«В июле 1827 года командирован в Отдельный кавказский корпус, для употребления там на службе, с состоянием под секретным надзором, Войска Донского сотник Сухоруков, переведенный в сие войско из пору-

---

[1] «Тифлисские ведомости» от 16/X 1828 г., № 16, стр. 4.

[2] Статья Сухорукова помещена в «Тифлисских ведомостях» от 10 октября 1829 г. в разделе «Критика» под названием: «Поправка статьи, напечатанной в Северной Пчеле и Инвалиде под заглавием «Письма из Кавказского корпуса Ил. Рджцкого».

чиков лейб-гвардии Казачьего полка, за известность о существовании злоумышленного тайного общества, имевшего целью введения в Россию конституционного правления.

Столь милостивое наказание г. Сухорукова за одно из величайших преступлений долженствовало бы заставить его почувствовать вину свою и стараться загладить оную ревностным усердием к службе, безусловною покорностью воле начальства, похвальным образом мыслей и примерно-скромным поведением.

Но, к сожалению, опыт показал противное: сотник Сухоруков в разных статьях, печатаемых им в повременных изданиях, говоря о военных действиях Отдельного кавказского корпуса, принимает тон решительный и, выходя на сцену своим лицом, позволяет даже себе судить о распоряжениях начальства, тогда как у нас строго наблюдается, чтобы о настоящих или новейших событиях военных ничего без ведома и дозволения правительства не печаталось. Ваше сиятельство между прочим усматривать сие изволите из помещенной в прилагаемой у сего 153 № Северной пчелы статьи под заглавием: ...«Ответ на поправки господина В. Сухорукова моих писем из Кавказского корпуса».

По всем таким причинам государю императору благоугодно было высочайше повелеть мне покорнейше просить вас, милостивый государь, о приказании опечатать бумаги Сухорукова и прислать оные ко мне, самого же его отправить с нарочным фельдъегерем на Дон, куда послано уже повеление об употреблении его на службу.

Высочайшую волю сию честь имею сообщить вашему сиятельству. Управляющий главным штабом граф Чернышев»[1].

16 января 1830 года в ответ на этот рапорт Паскевич сообщил Чернышеву, что «высочайшее повеление» выполнено немедленно.

«Отношение вашего сиятельства, — писал он, — от 24 декабря минувшего 1829 года, № 767-й, получил 13 числа в десять часов утра; дабы исполнить высочай-

---

[1] ЦГВИА, ф. 36, оп. 7/850, св. 53, № 117, лл. 1 — 2.

шую волю, в оном сообщенную, я тотчас поручил исправляющему должность начальника корпусного штаба, артиллерии генерал-майору Жуковскому 1-му, совместно с начальником штаба 4-го пехотного корпуса полковником Гасфортом и корпуса жандармов полковником Гофманом, немедленно опечатать все бумаги войска Донского сотника Сухорукова, которые препровождены при сем в двух связках за общими их печатями; имею честь уведомить вас, милостивый государь, что и сотник Сухоруков в тот же день отправлен с нарочным фельдъегерем Дамишем в Новочеркасск, к кавказскому атаману генерал-лейтенанту Кутейникову для употребления на Дону на службу. Генерал-фельдмаршал граф Паскевич-Эриванский»[1].

На этом документе имеется пометка: «Высочайше повелено сотника Сухорукова употребить на службу в Донском полку в Финляндии находящемся, и уведомить ген.-ад. Закревского, чтоб за ним учрежден был строгий надзор. Бумаги его поручить рассмотреть генерал-квартирмейстеру главного штаба, которому о том, что окажется в оных, мне донести».

Сухоруков был отправлен, как уже было отмечено, в Финляндию, а его бумаги — в Петербург, где они подверглись тщательному просмотру, причем особое внимание было обращено на вышеприведенный договор Сухорукова с Санковским[2].

Арест Сухорукова имел весьма неприятные последствия для редакции. Санковский лишился своей «правой руки» и заранее заготовленных газетных материалов. Это в свою очередь вызвало нарушение регулярного выпуска газеты. 20 февраля 1830 года редакция разъяснила читателям, что несколько номеров «Тифлисских ведомостей» не вышли «по непредвиденным обстоятельствам», а 18 октября того же года она напечатала объявление с более прозрачными намеками: «По причинам, коих никак нельзя было ни предвидеть,

---

[1] ЦГВИА, ф. 36, оп. 7/850, св. 53, № 117, л. 4.

[2] Не потому ли скрывал Сухоруков причины своего ареста, что в деле были замешаны его покровители Грибоедов и Санковский? (**В. Ш.**)

ни отвратить, издатели лишились материалов, заготовленных на четыре месяца вперед... Благосклонные читатели извинят нас в упущении, в коем мы сделались виновными по неволе и неожиданно».

После ссылки Сухорукова «Тифлисские ведомости» в 1830—1831 годах воздержались от полемики с «Северной пчелой». Однако и в эти годы в газете часто встречаются статьи декабристов и их единомышленников. Именно к этому периоду относится деятельное сотрудничество Бестужева-Марлинского в «Тифлисских ведомостях». На страницах этого печатного органа в 1831 году была опубликована известная «Записка» покойного Грибоедова об учреждении Российской закавказской компании, анонимный очерк «Могила Грибоедова», а также ряд других матералов, свидетельствующих о передовом направлении «Тифлисских ведомостей».

Как бы выждав, пока забудется история с арестом Сухорукова, заменивший его в редакции новый заместитель главного редактора Г. Гордеев выступил в 1832 году в «Тифлисских ведомостях» (№ 3—4) с большой, резко критической статьей, направленной опять-таки против печатного органа Булгарина. Полемический характер статьи подчеркивался уже самим заголовком: «Возражения господину X... Ш... на письма его к Ф. Булгарину, помещенные в № 9 Северного архива 1828 года».

Гордеев касается уже не военных вопросов, а оценки Грузии, быта и характера ее населения. Он резко критикует некоего реакционера X... Ш...[1], оклеветавшего грузин в своих письмах, адресованных продажному литературному провокатору Булгарину, который не замедлил поместить всю эту злобную клевету в своем «Северном архиве».

Гордеев пишет, что письма X... Ш... наполнены «чрезвычайной и оскорбительной несправедливостью

---

[1] В экземпляре «Северного архива», хранящемся в библиотеке ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР, под статьей X... Ш... неизвестной рукой приписано: «Харитон Шевырев». Раздобыть какие-либо сведения о личности Харитона Шевырева мне не удалось (В. Ш.).

насчет грузин, братьев и единоверцев наших, соединенных навсегда с нами в одно великое политическое тело. Письма сии в то же время привели всех читающих за Кавказом в сильное изумление и негодование на автора. Столь неприятное чувство, вместе с туземцами, разделяли и все благомыслящие россияне. Я, не доверяя еще сам себе насчет точного моего познания нравов и образа жизни грузин, удержался тогда от критических замечаний на сие сочинение. Ныне же, по прошествии нескольких лет, уверившись, что оно действительно так далеко от истины, как тьма от света, вменяю себе в приятную обязанность удостоверить моих соотечественников, что грузины вместе со своей страной представлены господином Х... Ш... совершенно в таком духе, в каковом они никогда не находились...»

Гордеева возмущают клеветнические утверждения Х... Ш..., будто грузины не отличаются остротой и живостью ума... Наоборот, пишет Гордеев, «дар ума доказывают они многими замысловатыми иносказаниями и своими... сочинениями».

Разоблачая все реакционные измышления соратника Булгарина, Гордеев с негодованием замечает, что клеветник Х... Ш... «между всеми описательными несправедливостями еще дозволяет себе поносить оскорблением целую нацию».

«Все ваши шесть писем, г. Х... Ш..., — читаем в заключении статьи, — наполнены одной несправедливостью и ложными понятиями, которые местами приправляются еще обидными сравнениями и колкими уподоблениями насчет грузин и грузинок. Правда, вы заговорили языком неправды о грузинах и о Грузии»[1].

Выступление Гордеева, а также некоторые другие статьи, напечатанные в «Тифлисских ведомостях» в 1830—1832 годах, свидетельствуют, о том, что эта газета и после ареста Сухорукова продолжала оставаться органом передовых людей и, насколько это позволяли условия, вела борьбу против реакционой журналистики.

---

[1] Любопытно, что над письмами Х... Ш... иронизировал и журнал «Атеней» (1828, ч. V, стр. 178).

Будучи поклонниками Пушкина, Санковский и Сухоруков популяризировали его в своей газете, а когда Пушкин прибыл в Грузию, установили приятельские отношения с ним и всячески старались привлечь его в свою газету в качестве сотрудника.

Имя Пушкина довольно часто встречается в «Тифлисских ведомостях». В первые же месяцы издания этой газеты, 11 сентября 1828 года, в «Разных известиях» приводилась «выписка из партикулярного письма, писанного одним молодым человеком, бывшим проездом в Тифлисе». Описывая бал, устроенный по случаю бракосочетания А. С. Грибоедова с Н. А. Чавчавадзе, этот не названный по имени молодой человек восхищается национальными танцами грузинских красавиц и добавляет:

«Что сказать тебе о прелестях здешних красавиц? В силах ли всякая проза исчислить все их красоты? Возьми Бахчисарайский фонтан и Кавказского пленника, прочти портреты Заремы и Черкешенки, — и ты получишь хотя слабое понятие о красоте здешних дам и девиц».

19 апреля 1829 года «Тифлисские ведомости» (№ 16) сообщали своим читателям о выходе в свет «Полтавы» Пушкина, а через неделю, 26 апреля, в 17-м номере газеты П. Санковский писал:

«Мы ожидали даже сюда одного из лучших наших поэтов, но сия надежда, столь лестная для любителей кавказского края, уничтожена последними письмами, полученными из России».

Нет сомнения, что здесь речь идет о Пушкине. Судя по всему, редакция газеты знала о предполагавшемся путешествии поэта в Закавказье задолго до его отъезда из столицы.

28 июня 1829 года «Тифлисские ведомости» сообщили своим читателям радостную весть: «Надежды наши исполнились: Пушкин посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе. Желая видеть войну, он испросил дозволения находиться в походе при действующих войсках и 16 июня прибыл в лагерь при Искан-Су. Перво-

классный поэт наш пребывание свое в разных краях России означил произведениями, достойными славного его пера: с Кавказа дал он нам «Кавказского пленника», в Крыму написал «Бахчисарайский фонтан», в Бессарабии — «Цыганы», во внутренних провинциях описал он прелестные картины Онегина. Теперь читающая публика наша соединяет самые приятные надежды с пребыванием А. Пушкина в стане кавказских войск и вопрошает: чем любимый поэт наш, свидетель кровавых битв, подарит нас из стана военного? Подобно Горацию, поручавшему друга своего опасной стихии моря, мы просим судьбу сохранить нашего поэта среди ужасов брани».

Это сообщение появилось в газете лишь 28 июня 1829 года, хотя оно было написано, надо полагать, значительно раньше. Правдоподобным можно считать предположение, что поднадзорное положение поэта, его «самовольный приезд» в Тбилиси и неизвестность, как к этому отнесется Паскевич (находившийся на фронте), побудили губернатора Стрекалова, следившего за Пушкиным в Тбилиси по предписанию «свыше», воздержаться до поры до времени от помещения заметки о прибытии поэта[1].

Любопытно, что даже некоторые столичные литераторы о пребывании Пушкина в Грузии узнавали из «Тифлисских ведомостей».

«О Пушкине нет ни слуху ни духу, — писал Е. А. Баратынский П. А. Вяземскому, — я ничего бы о нем не знал, ежели б не прочел в тифлисских газетах о приезде его в Тифлис»[2].

Этот факт, между прочим, лишний раз свидетельствует об исключительной популярности тбилисской газеты во всей империи.

9 августа 1829 года в «Тифлисских ведомостях» появилось еще одно сообщение о Пушкине: «6 августа Пушкин, возвратившийся из Арзрума, выехал из Тифлиса к Кавказским минеральным водам. Любители изящного должны теперь ожидать прелестных подар-

---

[1] Е. Вейденбаум. Кавказские этюды, стр. 246.
[2] Старина и новизна, 1902, кн. V, стр. 46.

ков, коими гений Пушкина, возбужденный воспоминаниями о Закавказском крае, без сомнения, наделит литературу».

Руководители «Тифлисских ведомостей» не только помещали в газете материалы, проникнутые большой любовью к поэту, но и встречались с ним, установили приятельские отношения.

Из «Путешествия в Арзрум» знаем, что в Тбилиси Санковский рассказывал поэту «много любопытного».

В воспоминаниях Н. Б. Потокского говорится о Санковском, как о «давнем знакомом» А. С. Пушкина. Рассказывая о пребывании великого поэта в Грузии[1], Потокский пишет:

«Первое мое посещение было П. С. Санковскому, тогдашнему издателю и редактору интересных в то время «Тифлисских ведомостей» — давнему знакомому А. С. Пушкина. Я имел к нему письмо от сестер его, живших в Малороссии в небольшой своей деревушке. П. С. Санковский просил навещать его чаще, и таким образом, спустя недели три после отъезда А. С. Пушкина в армию, когда я сидел у П. С. Санковского за вечерним чайным столом, разговор, как всегда, и на сей раз коснулся Александра Сергеевича. П. С. Санковский заговорил: «Меня беспокоит неизвестность, что теперь там делает Александр Сергеевич, здоров ли он?» Вдруг дверь с шумом распахнулась и к нам в комнату неожиданно влетел Пушкин и бросился в объятия Санковскому. На Пушкине был широкий белой материи турецкий плащ, а на голове красная феска. На вопросы, что так скоро вернулся из армии, Александр Сергеевич ответил:

«Ужасно мне надоело вечное хождение на помочах этих опекунов, дядек; мне крайне было жаль расставаться с моими друзьями, но я вынужден был покинуть их... Вот я и поспешил к тебе, мой друг Павел Степанович...» «На другой и на третий день, — рассказывает далее Потокский, — я еще встречался с Пушкиным и

---

[1] «Русская старина», 1880, т. 28, стр. 576—584.

Санковским и вместе делали прогулку по городу, между прочим посетили еще свежую могилу Грибоедова...»

О приятельских встречах Пушкина и Санковского рассказывает и К. Савостьянов[1].

Выясняется, что Санковский вел с Пушкиным переговоры о сотрудничестве в «Тифлисских ведомостях», на что получил согласие поэта. Об этом свидетельствуют письма Санковского к А. И. Философову.

Еще 14 ноября 1829 года редактор «Тифлисских ведомостей» просил Философова: «Повидайте, если возможно, Пушкина. Напомните ему обо мне и попросите его прислать мне «Калмычку», которую он обещал».

25 декабря того же года Санковский пишет Философову: «...Сделайте милость, если увидите Пушкина, напомните ему **обещание, столько раз повторенное,** что если он напишет что-нибудь об этой стране, чтобы он мне прислал»[2].

Напомню, что адресат письма — участник русско-персидской и русско-турецкой войн, который, находясь в Грузии, был в приятельских отношениях с декабристами, а в 1837 году принял горячее участие в судьбе своего родственника Лермонтова, сосланного на Кавказ.

Особое значение имеет для нас ответ Пушкина на не дошедшее до нас письмо Санковского. Приведу его без сокращений.

«Я так виноват перед вами, — пишет Пушкин, — и должен казаться таким неблагодарным, что мне совестно вам писать. Г-н Казасси доставил мне очень любезное письмо от вас; вы в нем просили у меня стихов для альманаха, который намеревались выпустить к этому году. Я задержал свой ответ по весьма уважительной причине: мне нечего было вам послать и я все ждал, как говорится, минуты вдохновения, то есть припадка бумагомарания. Но вдохновение так и не

---

[1] «Однажды, — пишет Савостьянов, — это было в Тифлисе, — за обедом у издателя тифлисской газеты Санковского... разговор коснулся до оды его «Наполеон» (Пушкин и его современники, выпуск XXXVII, 1928, стр. 146).

[2] Литературное наследство, № 58, стр. 92 (подлинник на франц. языке). (Подчеркнуто мною — **В. Ш.**).

пришло, в течение последних двух лет я не написал ни одного стиха — и вот почему мое доброе намерение преподнести вам свои несчастные стишки отправилось мостить ад. Ради бога, не сердитесь, а лучше пожалейте меня за то, что мне никогда не удастся поступать так, как мне следовало бы или хотелось бы.

Я поручил Ширяеву доставить вам все напечатанное мною по возвращении из Тифлиса — не знаю, выполнил ли он это. Я же обязан вам большой благодарностью за присылку Тифлисских ведомостей — единственной из русских газет, которая имеет свое лицо и в которой встречаются статьи, представляющие действительный, в европейском смысле, интерес. Если вы видите Бестужева, передайте ему поклон от меня. Мы повстречались с ним на Гуд-горе, не узнавши друг друга, и с тех пор я имею о нем сведения лишь из журналов, в которых он печатает свои прелестные повести. Здесь распространился слух о его смерти, мы искренно оплакивали его и очень обрадовались его воскрешению...

Письмо это передаст вам г-н Россетти, весьма достойный молодой человек, который покидает блестящий свет и ветреное и рассеянное существование для сурового ремесла грузинского солдата. Мы рекомендуем его вам и уверены, что вы поблагодарите нас за это знакомство.

Примите, милостивый государь, уверение в моем высоком уважении.

Александр Пушкин.

3 января 1833, СПБ.

Милостивому государю господину Санковскому в Тифлисе» (XV, 316)[1].

Содержание и тон письма свидетельствуют, как видим, о близких, приятельских отношениях между Пушкиным и Санковским.

Обратим внимание на «доброе намерение» Пушкина сотрудничать в альманахе Санковского, издание которого предполагалось продолжить и в 1833 году. Мы знаем, что Санковский, будучи сам литератором и

[1] Подлинник на франц. яз.

имея сотрудниками А. А. Бестужева-Марлинского, Е. Е. Лачинова и других писателей-декабристов, постепенно придал «Тифлисским ведомостям» характер литературного журнала (особенно с 1832 года, когда он под названием «Тифлисские ведомости. Отделение литературное» начал выпускать многостраничный двухнедельный орган). Ранняя смерть помешала ему осуществить новые издательские планы. Санковский умер еще до получения ответа Пушкина (осенью 1832 года).

Желание Пушкина сотрудничать в «Тифлисских ведомостях» станет понятным, если учесть следующие обстоятельства. К этому времени Пушкин уже охладел к «Московскому вестнику», в котором он сотрудничал с 1827 года. Недовольный направлением этого издания, поэт собирался вовсе оставить его, но своего печатного органа еще не имел. Между тем на журнальном поприще хозяйничали Булгарин и Греч, которые все больше травили Пушкина и других прогрессивных писателей. Назревала острая борьба автора «Полтавы» с булгаринщиной. В этих условиях Пушкина не могло не заинтересовать «самостоятельное»[1], антибулгаринское направление тбилисской газеты, являвшейся в этом отношении «единственной из русских газет», в которой «встречаются статьи, представляющие действительный, в европейском смысле, интерес».

Кстати, аналогичные высказывания встречаются и у декабристов. Так, А. А. Бестужев-Марлинский в своем «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев» благодарит издателей «Тифлисских ведомостей» за то, что они знакомят читателей с подлинной жизнью Закавказья. Бестужев придавал этому факту тем более важное значение, что, как он пишет, за отсутствием хороших познавательских работ об этом крае публика была вынуждена читать фальсификаторские и мелочные «кавказские произведения» иностранных сочинителей.

Столь высокая оценка «Тифлисских ведомостей» со стороны Пушкина и Бестужева объясняется, конечно,

---

[1] Или «оригинальное направление» («Couleur originale» в акад. изд. Пушкина переведено как «свое лицо»).

тем, что это издание имело «оригинальное направление» благодаря деятельному сотрудничеству ссыльных «государственных преступников» и передовых литераторов.

Таковы обстоятельства, вызвавшие большой интерес Пушкина к «Тифлисским ведомостям» и его согласие на сотрудничество в них.

Однако «доброе намерение» не было выполнено. Дело в том, что в 1830 году пушкинская группа создала свою собственную «Литературную газету», на страницах которой она повела борьбу против булгаринской прессы. Стихотворение «Калмычка», так же как и некоторые другие произведения Пушкина, предназначенные для «Тифлисских ведомостей», появляется в «Литературной газете». После закрытия «Литературной газеты» перед Пушкиным, возможно, вновь стал вопрос о сотрудничестве в «Тифлисских ведомостях», поскольку только они имели, по признанию поэта, «свое лицо». Но и на этот раз ему не удалось осуществить намерения — в 1832 году поэт действительно не написал стихов, за исключением альбомных, не предназначенных для печати. После смерти Санковского издание «Тифлисских ведомостей» прекратилось.

Пушкин встречался и переписывался не только с главным редактором «Тифлисских ведомостей», но и с его заместителем — Сухоруковым. Выше уже говорилось, что в «Путешествии в Арзрум» великий поэт, описывая свое пребывание в покоренном Арзруме, с удовольствием вспоминает о встречах, проведенных «с умным и любезным» Сухоруковым.

«Сходство наших занятий, — пишет Пушкин, — сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностию и удачей[1]. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены» (VIII, 479).

[1] Пушкин имеет в виду материалы по истории донского казачества, собранные Сухоруковым в 1821—1827 гг. и отобранные властями перед ссылкой его в Грузию.

По воспоминаниям М. Юзефовича, Пушкин проявил самое «нежное участие» к Сухорукову, «умному, образованному и чрезвычайно скромному литературному собрату». Узнав о конфискации его бумаг на Дону (1827), Александр Сергеевич, по словам Юзефовича, «чуть не плакал и все думал, как бы по возвращении в Петербург выхлопотать Сухорукову эти документы»[1].

В архиве Пушкина действительно имеется его записка о Сухорукове, представленная шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу в 1831 году, с просьбой вернуть опальному декабристу хотя бы копии с «драгоценных материалов».

«Сухоруков имел некогда поручение от комитета, учрежденного для устройства Войска донского, составить Историю донских казаков, — читаем в этой записке, — для сего Сухоруков пересмотрел все архивы присутственных мест и станиц Донской земли, также архивы Азовской, Саратовской, Царицынской, Астраханской, наконец и Московской. Выписанные им исторические акты заключают более пяти тысяч листков; кроме того, Сухоруков приобрел множество разных летописей, повестей, поэм и проч., объемлющих историю донских казаков».

«Имея слабое здоровье, — пишет Пушкин, — склонность к ученым трудам и малое, но достаточное для него состояние (тысячу рублей годового дохода), Сухоруков сказывал мне, что единственное желание его было бы получить дозволение хотя взять копии с приобретенных им исторических материалов, на которые употребил он пять лет времени, и потом на свободе заняться составлением Истории донских казаков[2].

На просьбу Пушкина последовал грубый ответ из управления главного штаба: граф Чернышев «находит со стороны сотника Сухорукова не только неосновательным, но даже дерзким обременять правительство требованием того, что ему не принадлежало и принадлежать не может» (См. Соч. Пушкина, XIV, 215).

---

[1] Пушкин в воспоминаниях современников, 1950, стр. 392.

[2] ИРЛИ, ф. 244. оп. I, № 824; ср. Пушкин. Полн. собр соч. в шести томах, 1936, т. V, стр. 534.

Пушкин мужественно заступался перед правительством за опального журналиста после того, как Сухоруков подвергся в Тбилиси аресту и новой ссылке.

О сочувствии и высокой оценке Пушкиным Сухорукова свидетельствуют также упоминание последнего в «Истории Пугачева» (IX, 90) и приглашение его в «Современник». Приступая к изданию этого журнала (1836), Пушкин обратился к Сухорукову с просьбой сотрудничать в нем.

«Любезнейший Василий Дмитриевич, — писал поэт. — Пишу к вам в комнате вашего соотечественника, милого молодого человека, от которого нередко получаю об вас известия. Сейчас сказал он мне, что вы женились. Поздравляю вас от всего сердца, желаю вам счастья, которое вы заслуживаете по всем отношениям. Заочно кланяюсь Ольге Васильевне и жалею, что не могу высказать ей все, что про вас думаю, и все, что знаю прекрасного.

Писал ли я вам после нашего разлучения в Арзрумском дворце? Кажется, что не писал; простите моему всегдашнему недосугу и не причисляйте мою леность к чему-нибудь иному.

Теперь поговорим о деле. Вы знаете, что я сделался журналистом (это напоминает мне, что я не послал вам Современника; извините, постараюсь загладить мою вину). Итак, сделавшись собратом Булгарину и Полевому, обращаюсь к вам с удивительным бесстыдством, и прошу у вас **статей.** В самом деле, пришлите-ка мне что-нибудь из ваших дельных, добросовестных, любопытных произведений. В соседстве Бештау и Эльбруса живут и досуг и вдохновение. Между тем и о цене (денежной) не худо поговорить. За лист печатный я плачу по 200 руб. — Не войдем ли мы и в торговые сношения?

Простите, весь ваш. А. П.

14 марта 1836
СПБ» (XVI, 90).

Как видим, письмо очень теплое, дружеское. Выясняется, что после встреч в Арзруме Пушкин всегда помнил Сухорукова, интересовался его судьбой, был в курсе его дел и в первом же номере своего «Современника» — в «Путешествии в Арзрум» вспомнил своего

«умного и любезного» собрата. Через семь лет после того, как Санковский и Сухоруков вели переговоры с Пушкиным о сотрудничестве в их газете, великий поэт, «сделавшись журналистом», просит опального декабриста сотрудничать в его «Современнике».

5

Мы знаем, что редактором «Тифлисских ведомостей» на грузинском языке Санковский избрал Соломона Ивановича Додашвили (1805—1836). Косвенные данные позволяют выдвинуть гипотезу, что Пушкин встречался и с этим выдающимся деятелем Грузии.

С. И. Додашвили родился в семье бедного священника из крестьян деревни Магаро (отсюда псевдоним Магарский, Додаев-Магарский). Окончив Тифлисское уездное духовное училище, он в 1824 году поступил вольнослушателем на философско-юридический факультет Петербургского университета.

Три года, проведенные в Петербурге, сыграли решающую роль в идейно-творческом росте Додашвили.

В совершенстве зная грузинский и русский языки, он овладевает в университете немецким, французским, греческим и латинским, глубоко изучает науки, особенно философию. В 1827 году в Петербурге, в типографии Александра Смирдина, печатает книгу «Курс философии, ч. I. Логика». Здесь же следует отметить, что Додашвили был частым гостем знаменитой книжной лавки А. С. Смирдина, которую посещали Пушкин и многие петербургские литераторы. Любопытно, что «Логика» посвящена А. А. Перовскому, который в двадцатых—тридцатых годах публиковал свои повести под псевдонимом — А. Погорельский. Примыкая к пушкинской группе, он сотрудничал в ее печатном органе — «Литературной газете». Книга молодого грузинского ученого получила высокую оценку на страницах «Московского вестника»[1], того самого журнала, который в 1827—1830 годах выходил при ближайшем участии А. С. Пушкина.

---

[1] «Московский вестник», 1827, ч. VI, № XXII, стр. 201—206.

Известно, что великий поэт поместил в «Московском вестнике» около 30 стихотворений (в первом же номере журнала был напечатан отрывок из «Бориса Годунова»). Так что Пушкин еще в 1827 году мог прочесть в «Московском вестнике» о Додаеве-Магарском такие слова:

«Отдадим сочинителю похвалу, вполне заслуженную за краткость, ясность и порядок... У г-на Д. в особенности хорошо выведены категории суждений... Что касается содержания логики г-на Д. Магарского, в ней довольно счастливо соединена краткость с надлежащей полнотой».

Следует напомнить, что и редактор журнала «Московский телеграф» Н. Полевой, который в то время дружил с Пушкиным, о Додашвили пишет как о знакомом человеке.

В Петербурге Додашвили общался и с другими передовыми русскими литераторами, близкими к Пушкину и декабристам. Характерно, что свидетель восстания 14 декабря Додашвили через студента Крупского, своего друга, достал копию письма Рылеева, написанного накануне казни своей жене. Додашвили годами хранил у себя это письмо так же, как и перевод «Исповеди Наливайко».

Грузинский литератор XIX века З. Чичинадзе, собиравший документы и личные воспоминания современников о Соломоне Додашвили, писал, что «он [Додашвили] охотно приобщился к декабристам, одних из них он находил среди своих друзей — студентов университета, других [сочувствующих декабризму] — среди профессоров, а некоторых — в различных кружках вне университета. Это первый случай общения грузина с декабристами»[1].

Поскольку Додашвили общался со столь близкой Пушкину средой, не исключена возможность, что он тогда же познакомился с великим поэтом.

После окончания университета, в 1827 году, Додашвили отправляется на родину. Проездом он останавливается на две недели в Москве, где, как сам писал, «по-

[1] З. Чичинадзе. Сол. Додашвили и Ник. Бараташвили, стр. 3 (на груз. яз.).

бывал в университете, театре, библиотеке и в других замечательных местах», познакомился с писателями и журналистами, «известными всему свету»[1].

Вернувшись на родину, Додашвили развертывает кипучую общественную, публицистическую и научно-педагогическую деятельность, становится идейным руководителем передовой грузинской интеллигенции. Работая преподавателем в Тифлисской гимназии (в числе его учеников были известные поэты-романтики Н. М. Бараташвили, М. Б. Туманишвили и др.), он одновременно пишет ряд произведений по вопросам философии, истории, литературы, издает книгу по грузинской грамматике, собирает вокруг себя лучшие культурные силы и ведет неутомимую работу по распространению передовых идей.

Додашвили для грузинской культуры имел такое же колоссальное значение, какое для России — Белинский и Добролюбов. Он был первым разночинцем в грузинской литературе, выросшим в нужде, героически преодолевавшим всевозможные препятствия, чтобы овладеть вершинами человеческого знания. Царский строй и злой недуг погубили его так же рано, как Белинского и Добролюбова. Додашвили напоминает этих русских гигантов своим неутомимо-лихорадочным трудом, размахом мысли, многогранностью таланта и поразительной целеустремленностью.

Плодотворная деятельность его продолжалась, как и деятельность Добролюбова, всего около пяти лет. Несмотря на это, он оставил неизгладимый след во многих областях грузинской культуры. Он был блестящим педагогом и журналистом, крупным философом и историком, острым критиком и глубоким теоретиком литературы, талантливым прозаиком и поэтом, языковедом и переводчиком. К сожалению, большая часть литературного наследия Додашвили еще не обнаружена, но и дошедшие до нас произведения свидетельствуют о том, что все его творчество проникнуто передовыми идеями эпохи, близкими Пушкину и декабристам.

---

[1] Материалы по истории Грузии и Кавказа, 1945, вып. II, стр. 87 (Публикация С. Хуцишвили).

Из того факта, что Додашвили оказался причастным к «Заговору 1832 года», вовсе не следует, что он, подобно некоторым заговорщикам, был «противником России». Наоборот. К заговору его привела ненависть к самодержавно-крепостническому режиму с его колонизаторской политикой.

Сохранилось показание Додашвили на следствии, в котором он перечисляет, каким притеснениям подвергали царские власти местное население[1].

Ненавидя царский деспотизм, Додашвили мечтал о республиканском образе правления. В своих республиканских убеждениях он сознавался даже на следствии[2]. Додашвили был уверен, что «Грузия без покровительства России существовать не может», но считал, что надо добиваться, подобно польским патриотам, конституционного правления.

Как патриот-просветитель, воспитанный на традициях прогрессивной русской литературы, Додашвили прекрасно понимал, что Грузия сможет существовать и развивать свою хозяйственно-культурную жизнь только в союзе с Россией, обладающей достаточными военными силами для ее защиты от персидско-турецкой агрессии и, главное, — великой культурой. Республиканец-литератор, клеймя царизм, в то же время любил и ценил страну Пушкина и Рылеева, популяризировал творчество передовых русских писателей. Еще в 1826 году он восторженно писал о величии русской культуры, давая особенно высокую оценку Ломоносову[3].

Воспитанник Петербургского университета, он придавал исключительное значение обучению грузинской молодежи в центре русской культуры. «Местом весьма высокой мудрости» называл он Петербургский университет и радовался, что все больше его соотечественников стремится туда на учебу. В этом факте Додашвили видел залог счастья своего народа.

Значительную роль в популяризации русской литературы и распространении передовых идей сыграл пе-

---

1 ЦГИАТ. ф. 1457, т. V, лл. 809—810.

2 Там же, т. XXIV, л. 4824—4825.

3 Материалы по истории Грузии и Кавказа, 1945, вып. II, стр. 64.

чатный орган, руководимый Соломоном Додашвили. Он справедливо считается первым грузинским журналистом. Выше отмечено, что он работал редактором грузинских «Тифлисских ведомостей» («Тбилисис уцхебани»)[1]. Вначале это было «двойником» русской газеты, но в 1832 году грузинское издание приобрело характер самостоятельного общественно-литературного журнала и называлось «Салитературо нацилни тбилисис уцхебатани» («Литературная часть Тифлисских ведомостей»)[2].

Издание Додашвили одобрительно отозвалось о постановке «Горя от ума» в Тбилиси. На его страницах популяризировались пушкинские творения в переводах А. Чавчавадзе[3] и С. Размадзе[4]. Эти переводы были напечатаны еще при жизни Пушкина (об этом подробно — ниже).

В «Тифлисских ведомостях» Додашвили поместил ряд собственных переводов и оригинальных произведений. Из последних особо выделяются: рассказ «Елена», «Краткий взгляд на грузинскую литературу», полемические статьи по истории Грузии и т. д.

Статья «Краткий взгляд на грузинскую литературу» была напечатана в «Тифлисских ведомостях» в январе 1832 года на грузинском и русском языках. Она пользовалась огромным успехом у современников и способствовала ознакомлению русского общества с грузинской литературой. Статья тогда же была перепечатана в «Московских ведомостях» (1832 г., № 10) и включена в «Историю древних и новых литератур, наук и изящных искусств» А. Жарри де Манси, в переводе И. Милашевича (1832, ч. II, стр. 38—48).

У нас нет прямых данных о встречах и знакомстве Пушкина с Додашвили в Грузии, но едва ли можно сомневаться в том, что во время своего трехнедельного пребывания в Тбилиси, где Пушкина столь радушно

---

[1] С. Додашвили прямо назван в русских «Тифлисских ведомостях» редактором грузинской газеты (1832, № I, стр. 24).

[2] Вышло всего 5 номеров (1832).

[3] Стихотворение «Пробуждение» («Тифлисские ведомости», 1830, № 2).

[4] Стихи «Веселый пир» и «Ночной зефир струит эфир...» («Литературная часть Тифлисских ведомостей», 1832, № 5).

встречали местные деятели и где руководители «Тифлисских ведомостей» вели с ним переговоры о сотрудничестве в газете, с ним познакомился и один из руководителей этой газеты — выдающийся грузинский деятель С. И. Додашвили.

В заключение следует сказать, что плодотворная и многогранная деятельность Додашвили была прервана в конце 1832 года, когда его арестовали в связи с раскрытым в Грузии заговором. Царские власти сослали его в Вятку на десять лет. Там Додашвили познакомился с А. И. Герценом, находившимся также в вятской ссылке; они служили в одной канцелярии. Сохранилась запись Герцена о посещении им в августе 1836 года умирающего от туберкулеза С. И. Додашвили[1]. Символична эта встреча в ссылке двух выдающихся людей России и Грузии, разбуженных громом пушек на Сенатской площади.

---

[1] А. И. Герцен. Полное собр. соч., т. III, стр. 19.

ПУШКИН И ГРУЗИНСКИЕ РОМАНТИКИ

1

В настоящей главе делается попытка собрать и систематизировать данные о связях грузинских романтиков с Пушкиным. Имеются ввиду как личные, так и идейные и творческие связи.

С начала XIX века, с присоединением к России, Грузия вступила в новую полосу своего общественно-политического, экономического и культурного развития.

Новые условия выдвинули перед грузинской литературой новые задачи, к решению которых различные грузинские писатели подходили по-разному. Здесь, как и в русской литературе, две национальные культуры обозначались весьма заметно в освещении каждой проблемы.

Одной из самых злободневных проблем была «судьба Грузии», определявшаяся ее взаимоотношениями с Россией. Реакционные царевичи и царевны (Фарнаоз, Мария, Кетеван, Текле...), представители «феодально-монархического национализма» считали, что присоединение к России является для Грузии национальным бедствием. Борясь за реставрацию династиии Багратионов, они выступали вообще против России, против прогрессивной русской культуры.

Однако в грузинской литературе господство получило не это направление, а противоположное, представленное именами выдающихся грузинских романтиков А. Чавчавадзе, Г. Орбелиани, В. Орбелиани, Н. Бараташвили и др. Когда говорят о грузинской литературе

первой половины XIX века, то имеют в виду именно этих наиболее характерных деятелей, творчество которых ознаменовало новый этап в истории грузинской культуры. Они взяли на себя задачу — вывести родную литературу на широкие просторы развития, открыть перед нею перспективы дальнейшего роста.

При разрешении этой исторической задачи названные писатели, представлявшие в основном прогрессивный романтизм в Грузии, творчески использовали богатый опыт передовой русской литературы.

Грузинский романтизм возник, конечно, на национальной почве. Он был органическим продолжением многовековой грузинской литературы (элементы романтизма встречаются и у поэтов XVIII века). Источником его была сама грузинская действительность. Но, будучи глубоко национальным по своему характеру, это литературное явление вовсе не было ограниченным, кастовым. В творчестве Пушкина и других передовых русских писателей грузинские романтики находили блестящий пример того, как запечатлеть реальную действительность в художественных образах; использование опыта русской литературы не уничтожало и не сглаживало национального своеобразия грузинской поэзии, а наоборот — способствовало усилению ее самобытности.

Родившись на рубеже двух столетий, грузинские романтики выросли в эпоху войн и революционных потрясений, в эпоху поединка отживавшего феодализма и поднимавшейся буржуазии. Будучи свидетелями или участниками великих исторических событий, — присоединения Грузии к России, Отечественной войны 1812 года, всеобщего подъема революционного движения, восстания декабристов, — грузинские романтики, естественно, не могли не отразить в своем творчестве «духа времени», новых веяний и процессов, происходивших в жизни и литературе.

Молодое поколение грузинских деятелей, выступившее на общественно-литературном поприще в эпоху декабризма, во многих отношениях было связано с Пушкиным и первым поколением русских революционеров. Одни из них получили образование в России, другие общались с ними в самой Грузии.

На творчество грузинских романтиков весьма благотворное влияние оказало живое общение с русскими провозвестниками свободы и, особенно, их патриотические и вольнолюбивые идеи. Грузинских писателей, как и Пушкина, Грибоедова и декабристов, возмущало социальное и национальное угнетение, проводимое царским правительством, но в то же время они хорошо понимали огромное значение прочного союза с Россией, с передовой русской культурой.

Характерно, что именно в двадцатые-тридцатые годы расширяется кругозор и углубляется идейное содержание грузинской литературы, все больше приближающейся к насущным потребностям народа, обогащающейся новыми мотивами, жанрами и образами, характерными для поэзии Пушкина и декабристов.

Следует оговориться, что в грузинском романтизме социальные и политические мотивы представлены не так сильно и ярко, как в творчестве Пушкина и декабристов; однако творчество наиболее талантливых грузинских писателей проникнуто патриотическим порывом и свободолюбием. Их лучшие произведения носят оптимистический характер и посвящены актуальным проблемам жизни народа, судьбе родины; они не оторваны от действительности. Элементы реализма в них проступают весьма заметно.

«Значение Пушкина для Грузии весьма велико, — писала в 1899 году «Иверия» — газета вождя грузинского национально-освободительного движения Ильи Чавчавадзе, — в продолжение семидесяти лет не было в Грузии ни одного поколения, которое не изучало бы Пушкина и не питалось его музой».

Творчество Пушкина привлекало и увлекало передовых грузинских деятелей и прогрессивностью идей, разнообразием и глубиной содержания, и покоряющим поэтическим обаянием, изумительным совершенством художественной формы.

Именно в пушкинскую эпоху наметился «в грузинской поэзии, — по справедливому замечанию К. Д. Дондуа, — перелом в сторону ориентации на европейскую, более всего, русскую поэзию.

Наиболее тесные литературные связи с Россией уста-

новились в грузинской художественной литературе со времени Пушкина и через Пушкина. Можно сказать, что в лице «первой любви» России грузинские поэты послали свой первый осознанный поэтический привет обновленной русской поэзии и наиболее передовой части русской интеллигенции»[1].

Историческое движение за преобразование грузинской литературы, за ее сближение с прогрессивной русской и западно-европейской культурой было начато Александром Чавчавадзе, продолжено Григолом Орбелиани и завершено Николозом Бараташвили.

Из грузинских писателей первой половины XIX века самую крупную роль в укреплении русско-грузинских культурных связей сыграл Александр Гарсеванович Чавчавадзе (1786—1846) — талантливый поэт и переводчик, видный государственный и общественный деятель. Родился он в Петербурге, где его отец долго занимал пост полномочного посла грузинских царей при русском дворе. Крестила будущего поэта Екатерина II.

Александр Чавчавадзе учился в одном из лучших пансионов Петербурга. В 1799 году он приехал в Грузию. Здесь в 1804 году юный поэт примкнул к восставшим мтиульцам, которыми руководил царевич Фарнаоз. Александр Чавчавадзе вместе с другими повстанцами был арестован и сослан в Тамбов на три года. Однако из уважения к заслугам его отца русский император через несколько месяцев помиловал молодого мятежника и вернул в Петербург. Его определяют в Пажеский корпус, после окончания которого он служит в лейб-гвардии гусарском полку в чине подпоручика. С 1811 года он вновь в Грузии, на должности адъютанта кавказского главнокомандующего маркиза Паулуччи.

Следует отметить, что Чавчавадзе уже в то время был одним из образованнейших людей. Помимо русского и грузинского, он хорошо знал турецкий, персидский, французский и немецкий языки, с юношеского возраста учился «истории, географии, статистике, физике, логике,

---

[1] К. Дондуа. Пушкин в грузинской литературе (сб. «Пушкин в мировой литературе», 1926, стр. 201).

словесности, математике, военным и политическим наукам».

В 1813—1814 годах А. Чавчавадзе участвовал в сражениях с наполеоновскими войсками и в походах на Запад, побывал в Париже в качестве адъютанта Барклая-де-Толли[1].

После Отечественной войны А. Чавчавадзе вернулся в Грузию. В феврале 1818 года он в чине полковника был зачислен в Нижегородский драгунский полк, а в начале 1821 года Ермолов представил его к назначению на должность командира этого же полка, но примерно через год Чавчавадзе, не выходя в отставку, поселяется в Тбилиси и посвящает себя общественно-литературной деятельности.

За отличие в русско-персидской войне Чавчавадзе производится в генерал-майоры и назначается начальником освобожденной от гнета шахской Персии Армянской области. Уже в августе 1828 года он оставляет армию, а к началу 1829 года возвращается в Тбилиси. К этому его вынудили придирки главнокомандующего Паскевича, причинявшего поэту много неприятностей.

В январе 1834 года Александра Чавчавадзе ссылают в Тамбов по подозрению в принадлежности к заговору 1832 года. Однако вскоре его возвращают в Петербург, а позже — в Грузию, где он до самой смерти ведет большую административную и общественно-литературную работу.

Такова канва жизни А. Г. Чавчавадзе.

Жизнь и творчество А. Г. Чавчавадзе можно разделить условно на два периода — до и после Отечественной войны 1812 года.

Известно, что в юном возрасте А. Чавчавадзе со штыком и пером восставал против уничтожения самостоятельности грузинского царства. В 1804 году поэт, сбежав из дому, примкнул к церевичу Фарнаозу, домогавшемуся престола.

Скорбь по поводу утраты родиной независимости яв-

---

[1] См. С. Маглакелидзе. «Материалы для биографии Александра Чавчавадзе» («Исторический вестник», 1946, № 2, Тбилиси, стр. 355—358, на груз. яз.).

лялась одним из главных мотивов раннего творчества Чавчавадзе. В его юношеской поэзии Грузия часто сравнивается с затворницей, оказавшейся в мрачной тюрьме. Нежной любовью к многострадальной отчизне проникнуты стихи поэта «Висац гсурт», «Исминет мсменно», недавно обнаруженное «Квлав марад»[1] и другие.

В то время Чавчавадзе отрицательно расценивал присоединение Грузии к северной державе, ибо имел о России одностороннее представление: сын грузинского посла при царском дворе мог видеть, главным образом, ее официальную сторону.

Не вина, а беда Чавчавадзе, что в юном возрасте он недостаточно знал и ценил родину Радищева и Державина, страну великого народа. Надо учесть, что в самой России на первый план выдвигался и прежде всего бросался в глаза «фасад» империи, а не запретная книга Радищева, в далекую же Грузию приезжали, в основном, официальные лица, представители императорской России, «тюремщики», а не поэты и художники.

Но в дальнейшем, наряду с Россией аракчеевых и романовых, бюрократов и казнокрадов, «пьяных офицеров, забияк» и царских башибузуков, Чавчавадзе увидел и Россию героев Отечественной войны и 14 декабря, Россию Грибоедова и Пушкина.

Почему же именно сейчас, а не раньше, заметил Чавчавадзе эту молодую, революционную, культурную Россию?

Не только потому, конечно, что за это время он вырос, но и потому, что после Отечественной войны необычайно выросла сама Россия; в ней обнаружились такие силы, о которых раньше и не подозревали.

Воюя рука об руку с русскими друзьями против наполеоновских войск, Чавчавадзе был свидетелем исключительного патриотического подъема и героизма русского народа, а затем — свидетелем восхода солнца русской поэзии Пушкина и движения первого поколения русских революционеров. Отечественная война, сыгравшая, как известно, исключительную роль в возникнове-

---

[1] См. И. Боцвадзе. Статьи, 1956, стр. 3—12 (на груз. яз).

нии декабризма, безусловно способствовала изменению взглядов Чавчавадзе, их радикализации. С этих пор Чавчавадзе не только на русской, но и на грузинской земле, в родном городе Тбилиси и даже в собственном доме встречает подлинных представителей русской нации, которые, в отличие от реакционных царских чиновников, относились к грузинскому и другим народам благожелательно и сочувственно.

Чавчавадзе породнился с Грибоедовым, став его тестем, но в идейном родстве он находился и с целым поколением передовых деятелей русской культуры.

Неизмеримо выросшие революционные и культурные силы России привлекли к себе внимание всего прогрессивного человечества, завоевав уважение и симпатии к России передовых людей мира. В этом заключалась, между прочим, одна из огромных заслуг Пушкина, Грибоедова, декабристов... Если царская Россия, являвшаяся «тюрьмой народов», отталкивала и возмущала прогрессивных деятелей обширной империи, то пушкинская Россия становилась для них притягательным центром, страной искренних друзей и великой культуры.

Таким образом изменения во взглядах Чавчавадзе были вызваны, главным образом, изменениями, происшедшими в самой объективной действительности, и, прежде всего, огромным подъемом революционного и культурного движения в России, оказавшим непосредственное влияние на поэта. В зрелые годы Чавчавадзе пришел не к примирению с самодержавием, как это утверждают некоторые исследователи, а к пониманию прогрессивного значения присоединения Грузии к России. Прежнее однобокое представление о России уступило место многостороннему, полному и глубокому пониманию вопроса.

О личных встречах и знакомстве Пушкина и Чавчавадзе нет прямых документальных доказательств. Но косвенные данные дают основание полагать, что они знали друг друга.

Вспомним, что в бытность Пушкина в Тбилиси, где он, по его же словам, познакомился «с тамошним об-

ществом», в этом же городе находился самый выдающийся представитель этого общества — тесть Грибоедова, прославленный поэт и военачальник А. Чавчавадзе. Вспомним и то, что современники единодушно называют его связующим звеном между передовыми деятелями грузинской и русской культур.

Главная заслуга Александра Чавчавадзе, по словам К. А. Бороздина, «заключалась в том, что он успел дом свой сделать прочным звеном между обществом грузинским и русскими людьми, ехавшими служить на Кавказ... Князь Александр довершал в полной мере дело, начатое его отцом. Гарсеван политически приурочил Грузию к России, а сын его, благодаря своему личному характеру, сблизил грузин с русскими. Всякий русский, занесенный на дальнюю чужбину, дышал у него родным воздухом; всякий грузин шел к нему с душою нараспашку, тут они встречались и научились понимать и любить друг друга»[1].

Дом Александра Чавчавадзе отличался своеобразным бытовым и культурным колоритом. С хорошими грузинскими традициями здесь сочетались европейские веяния. Глава семейства дал своим детям прекрасное образование. В семье Чавчавадзе хорошо говорили не только на грузинском и русском, но и на иностранных языках, интересовались искусством и литературой, играли на национальных инструментах и на фортепиано, пели и танцевали.

Не удивительно, что эта высокообразованная и гостеприимная семья, «приют муз и вдохновения», по словам современников, стала центром притяжения передовых людей России и Грузии. Здесь каждый мог найти духовную пищу, удовлетворить свои эстетические запросы вести задушевную беседу и с передовым деятелем тогдашней Грузии — прославленным поэтом и интересным собеседником Александром Чавчавадзе, и с его обаятельными, талантливыми дочерьми, и с многочисленными гостями, приезжавшими сюда с ин-

---

[1] Грибоедов в воспоминаниях современников, под ред. Н. К. Пиксанова, 1929, стр. 303.

тересными новостями из самых различных уголков Грузии, России и Запада.

Жена Александра Чавчавадзе имела полное основание писать в 1846 году, что двери чавчавадзевского дома в течение сорока лет были открыты для всех порядочных людей, что в этом доме устанавливалась дружбы грузин с русскими[1].

Барон Ф. Торнау, называя А. Г. Чавчавадзе «старинным приятелем» В. Д. Вольховского (лицейского друга Пушкина) и других декабристов, рассказывает, что в этой среде ему «стало жить тепло и уютно». «Каждый день с утра собирались к ним [к Чавчавадзе] родственники и родственницы грузинские, потом начинали приходить русские, один за другим, кто как освобождался только от службы»[2].

По словам К. Бороздина, Грибоедов вскоре после своего приезда в Грузию «близко сошелся с князем Александром, который, как сам поэт, более других мог понять и оценить его личность, и между ними установилась самая искренняя, самая тесная дружба»[3].

Выясняется, что их сближению способствовало не только чувство родства, но общность вольнодумческих взглядов и высоких общественно-культурных интересов.

Во всей деятельности Александра Чавчавадзе, в системе его воззрений, в поведении, творчестве было много «предосудительного», с точки зрения царизма, много такого, что сближало его с автором «Горя от ума», Пушкиным и героями 14 декабря. Декабристские симпатии Александра Чавчавадзе не вызывают никакого сомнения. О них знали еще его современники, о чем свидетельствует секретное донесение главнокомандующего Кавказским корпусом Розена военному министру Чернышеву от 22 декабря 1832 года.

«Князь Чавчавадзе, — читаем в этом документе, — образован в Пажеском корпусе, потом, служа у нас,

---

[1] См. газету «Литература да хеловнеба», 10 ноября, 1947 г.

[2] «Русский вестник», 1869, апрель, стр. 698.

[3] Грибоедов в воспоминаниях современников, 1929, стр. 303.

принял всю европейскую образованность, и дочь его была замужем за покойным Грибоедовым». Дальше следует зачеркнутая, но ясно читаемая фраза: «и будучи тестем покойного Грибоедова, имел средство утвердиться в правилах вольнодумства»[1].

Интересно в этой связи и воспоминание барона Ф. Ф. Торнау, которому, оказывается, один из «доброжелателей» шепотом советовал «из осторожности» не общаться с разжалованными декабристами и... с А. Г. Чавчавадзе[2].

Пушкин прибыл в Тбилиси в то время, когда семья А. Чавчавадзе была в глубоком трауре по случаю убийства в Тегеране А. С. Грибоедова. Чавчавадзе и тбилисская общественность готовились к печальной встрече праха Грибоедова еще с апреля, но останки продолжительно задерживались в карантине по случаю чумы. Только 2 мая гроб прибыл в Нахичевань. 31 мая 1829 года датировано письмо Александра Чавчавадзе, отправленное из Тбилиси католикосу всех армян с благодарностью за почести, отданные «в первопрестольном Эчмиадзинском монастыре праху незабвенного зятя моего, бывшего полномочного министра в Персии Александра Сергеевича Грибоедова»[3].

Исследователи правильно полагают, что Пушкин мог познакомиться с тестем и вдовой своего великого собрата и выразить им соболезнование по поводу постигшего их горя[4].

Небезынтересно отметить, что брат поэта — Лев Сергеевич Пушкин, служивший в Грузии, хорошо был знаком с семьей Чавчавадзе.

«Мы третьего дня получили письмо от Льва от 29 мая, — писала Надежда Осиповна Пушкина дочери 19 июня 1835 года. — Он объездил Грузию, провел две недели в усадьбе вдовы Грибоедова; он говорит, что это

---

[1] Е. Вирсаладзе. Новые материалы о Н. Бараташвили и его времени (газета «Заря Востока» от 16 ноября 1945 г.).

[2] См. «Русский вестник», 1869, апрель, стр. 701—702.

[3] И. К. Ениколопов. Пушкин в Грузии, 1950, стр. 108.

[4] Как известно, Пушкин встретил прах Грибоедова по пути в Арзрум 11 июня, о чем рассказал в «Путешествии в Арзрум».

были прекраснейшие дни его жизни, что она очаровательная женщина; он опять собирается туда»[1].

Легко себе представить, с каким любопытством слушали в семье Чавчавадзе брата великого Пушкина, замечательного чтеца стихов, и как много было сказано об авторе «Онегина» в эти две недели!

В то время, когда Лев Пушкин гостил в Цинандали, Александр Пушкин и Чавчавадзе — два самых крупных поэта России и Грузии — находились в Петербурге... и, возможно, встречались.

Приходится прибегать опять к гипотезам. Выше было сказано, что А. Г. Чавчавадзе в январе 1834 года царскими властями был сослан в Тамбов по подозрению в принадлежности к антиправительственному «Заговору 1832 года». Однако в том же году, через несколько месяцев, его вернули в Петербург, где он находился до осени 1837 года. Это самое «белое пятно» в биографии Александра Чавчавадзе. Пока еще точно не выяснено, чем занимался и с кем встречался он в эти годы в Петербурге. Но едва ли можно сомневаться, что он, поклонник и переводчик великого поэта, читал в 1836 году опубликованное его «Путешествие в Арзрум», где между прочим, говорилось как об А. Чавчавадзе, так и о его дочери Нине и зяте Грибоедове.

Известно, что Пушкин снабдил свое «Путешествие» предисловием, направленным против французского дипломатического агента Фонтанье, который в 1834 году выпустил в Париже книгу о своем путешествии на Восток. Фонтанье в своей книге искажает фамилию грузинского генерала-поэта, называет его Цицевазе (Tsitsevaze). В одном из вариантов предисловия Пушкин поправляет его, указывая в скобках более правильную транскрипцию фамилии — «Чавчевадзев» (VIII, 1025). Из этого следует, что фамилия грузинского поэта Пушкину была известна. В предисловии к «Путешествию в Арзрум» Чавчавадзе мог прочесть свое имя, а во второй главе — описание знаменитой встречи с прахом Грибоедова, в котором было сказано: «Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил...» (VIII, 461).

---

[1] Литературное наследство, 1934, т. 16—18, стр. 793.

А через несколько месяцев Чавчавадзе оказался свидетелем того, как на квартиру Пушкина, на набережную Мойки, со всех концов Петербурга тянулись экипажи, как люди, заполнив улицу, горевали, плакали, негодовали против убийц любимого поэта. Можно с уверенностью сказать, что это горе и негодование охватило и Александра Чавчавадзе, что грузинский поэт побывал у гроба своего великого собрата.

Вспомним, что и на другом конце империи, в Закавказье, и, в частности, в Тбилиси, передовая общественность также глубокого была потрясена вестью о гибели Пушкина. Об этом свидетельствует множество фактов и особенно скорбное стихотворение известного азербайджанского поэта М. Ф. Ахундова и письмо выдающегося писателя декабриста А. А. Бестужева-Марлинского, который 23 февраля 1837 года писал брату из Тбилиси:

«Я был глубоко потрясен трагической гибелью Пушкина... Когда я прочел ваше письмо Мамуке Орбелианову, он разразился проклятиями: «Я убью этого Дантеса, если только когда-нибудь его увижу», — сказал он»[1].

В этих словах М. Орбелиани выражено настроение передовой грузинской общественности. Следует отметить, что Мамука Орбелиани— один из замечательных представителей грузинской интеллигенции—был очень близок семье Александра Чавчавадзе.

Если о личном знакомстве и общении Александра Чавчавадзе с Пушкиным приходится говорить предположительно, гипотетично, то о его идейно-творческих связях с великим русским поэтом можно сказать совершенно определенно, основываясь на точных данных — на оригинальных произведениях и переводах Чавчавадзе.

Являясь старшим в плеяде грузинских романтиков, Чавчавадзе первый отразил в своем поэтическом творчестве знаменательный перелом. Продолжая и как бы подытоживая богатые достижения многовековой грузинской поэзии, он в то же время начал вносить в родную

---

[1] А. А. Бестужев-Марлинский. Сочинения в двух томах. 1958, т. II, стр. 673—674.

литературу элементы русской поэтической культуры, обогащать ее новыми идеями, темами и мотивами.

Ориентация на Россию, признание ее прогрессивной роли для Грузии отразились в программном стихотворении Чавчавадзе «Кавказ». По тематике и концепции оно сродни известным «кавказским произведениям» Пушкина, Лермонтова, декабристов.

В первой части стихотворения Чавчавадзе дает реалистическое описание горного ландшафта, которое отличается яркостью красок, музыкальностью и динамичностью.

В стихотворении широко применяется прием контрастов. В начале рисуется мрачно-величавая панорама суровых гор: до небес вознесенные гранитные скалы, покрытые тысячелетним снегом, и огромные обвалы, с бешеной стремительностью падающие с заоблачных высот в страшную бездну, сметая все на своем пути.

«Ревет ураган, и туманные клочья
Влачатся, и утро становится ночью.
Гляди, — затрещала земная кора,
И хлябью потока разверзлась гора.
Там лес строевой закачался под ветром,
Дорога обвалом засыпана щедрым...»

Этой картине мрака и разрушения противопоставляется лучезарный вид обновленной природы:

«Но выглянет солнце, — и в отблесках ранних,
Здесь гул водопада, там льда многогранник,
Создания нечеловеческих рук
Алмазом и золотом вспыхнули вдруг».

(Перевод П. Антокольского.)

Природа оживает и расцветает, «блещет и жаждет вместиться в цветочных кошницах и сочных плодах». Поля и луга, красуясь, зеленея и наполняя воздух ароматом, манят к себе оленей и туров.

Чавчавадзе — великий жизнелюб и оптимист — прославляет победу солнца над тьмой, поет гимн обновленной природе.

Во второй части стихотворения автор переходит к теме Прометея, прикованного к казбекской скале. Как известно, древнегреческий миф об этом титане, обогащаясь кавказскими легендами, получил в мировой литературе широкое распространение.

А. Чавчавадзе тему Прометея связывает, с одной стороны, с темой победы человека над природой, с другой, — с злободневным вопросом культурно-политической ориентации Грузии.

Ловкий тур, пишет Чавчавадзе[1], досадует, что ему недоступна вершина Казбека («Мкинвари» — гора Казбек, а не «ледник», как неправильно трактуют некоторые переводчики и исследователи. — **В. Ш.**). К этой горе когда-то был прикован осужденный богами Прометей, грудь которого клевал ворон. Гора эта, словно нарочито возвышающаяся на пути скалистым рубежом, испокон веков считалась недоступной.

«Но время пришло, и к расселине узкой
Явился воспитанный в армии русской
Герой Цицишвили», —

и стесненный Терек, осторожно взглянув на границу, признал ее, и распахнулись высокие скалы, открыв дверь широкой дороге.

«И армия Севера в славе железной шагнула на кряж», не дрогнув ни над бездной, ни перед вершинами громад.

Стальные кирки в тысячах рук, как искусственные громы и молнии, начали грохотать и сверкать, дробя и разбивая камни, скалы, — и Кавказ горько застонал от ран. Открылся путь, и у грузин родилась надежда, вера, что оттуда (с Севера) придет к ним просвещение.

Итак, русские воины, одержав победу над природой, сокрушили непокорные, дикие горы, воздвигнутые на границе Грузии с Россией и разъединявшие эти соседние страны. Рухнули преграды на пути сближения двух народов, открылся широкий путь общения и сотрудничества, путь приобщения грузин к великой русской культуре.

В своем стихотворении Чавчавадзе, по-видимому, намекает на то, что продвижение царской России на Кавказ имело и теневые стороны, что царская политика «огня и меча» наносила краю жестокие раны, от которых он «горько стонал». Но, несмотря на это, присоеди-

---

[1] Ввиду отсутствия точных переводов даю прозаическое изложение (**В. Ш.**).

нение Грузии к России, по убеждению поэта, было безусловно прогрессивным актом, и он всячески приветствует его.

Следует отметить, что А. Чавчавадзе в «Кавказе» выступает перед нами не только как человек передовых взглядов и широкого кругозора, хорошо понимавший значение для Грузии союза с Россией, но и как прекрасный знаток исторической обстановки и конкретного материала, нашедшего в стихотворении верное отражение.

Так, в картине борьбы русских воинов под водительством Цицишвили за покорение гор, за проведение широкой дороги отражаются совершенно конкретные события, свидетелем которых был А. Чавчавадзе. Известно. что Военно-Грузинская дорога с ее «Дарьяльским коридором», вошедшим в историю и под названием «Кавказских ворот», с древних времен была единственной сухопутной коммуникацией, связывавшей Закавказье с Россией. Ее роль особенно возросла после присоединения Грузии к России (1801), когда возникла необходимость регулярного и беспрепятственного передвижения с обеих сторон. Характеризуя значение Военно-Грузинской дороги, К. Маркс писал: «Кавказские горы отделяют Южную Россию от роскошных провинций Грузии, Мингрелии, Имеретии и Гурии, отторгнутых московитянами от мусульман. Этим ноги гигантской империи отрезаны от туловища. Единственная военная дорога, заслуживающая это название, вьется от Моздока к Тифлису через узкое Дарьяльское ущелье»[1].

В начале XIX века по инициативе главнокомандующего П. Д. Цицианова (Цицишвили) началась постройка новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. Только на устройство Дарьяльского прохода было израсходовано свыше семидесяти тысяч рублей. Скалы, затруднявшие движение, были взорваны, дорога значительно расширена и улучшена.

В свете изложенного становится понятным интерес к «кавказским воротам» и личности Цицианова со стороны Чавчавадзе, Пушкина и других передовых русских и грузинских поэтов.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IX, стр. 533.

Читая «Кавказ» А. Чавчавадзе, невольно вспоминаешь «Кавказ», «Кавказский пленник», «Путешествие в Арзрум» Пушкина и «Спор» Лермонтова, в которых дается анологичное освещение темы. Для доказательства этого нет необходимости приводить примеры и цитаты из названных произведений, хорошо известных широкому читателю. Трудно говорить о влиянии пушкинско-лермонтовских творений на «Кавказ» Александра Чавчавадзе (тем более, что время его написания неизвестно). Надо полагать, что сходство между ними объясняется сходством взглядов авторов на русско-грузинские отношения, на личность Цицианова и т. д.

Переходя к «Краткому историческому очерку Грузии и ее положения с 1801 по 1831 год», напомню, что этот документ был подан Александром Чавчавадзе Николаю I 10 мая 1837 года в Петербурге. «Очерк» подробно рассмотрен в моей книге «Декабристская литература и грузинская общественность» (1958 г., стр. 504—516). Здесь же следует отметить, что «Очерк» является одним из замечательных документов эпохи, в котором правдиво и ярко изложены история Грузии и те события, живым свидетелем и участником которых был сам автор. Имея большое историко-познавательное значение, это произведение в то же время является ценным источником для изучения воззрений Чавчавадзе.

Поскольку «Очерк» — официальный документ, обращенный к царю, автор, естественно, проявляет осторожность в суждениях, взгляды излагает не свободно, однако все же довольно смело и откровенно. В «Очерке» поэт выступает, насколько позволяли условия, против той реакционно-шовинистической точки зрения на Грузию, которая господствовала в официальных кругах России. В авторе «Очерка» мы видим просвещенного и передового деятеля, основные идеи которого имеют параллели в произведениях Грибоедова, Пушкина и декабристов.

Критика царской администрации в «Очерке» проходит красной нитью. Чавчавадзе смело заявляет, что в Грузии «злоупотребления сделались столь обыкновенными, что впоследствии мало на них обращалось внимания». Он перечисляет насилия и злоупотребления, чинимые

царскими сатрапами в Грузии, — «беспорядочное требование подвод», «разорительные повинности», «непомерные хлебные поборы», бесчинства «провиантских комиссионеров», «жестокое самоуправство» и развратное поведение многих военнослужащих...

«Вышеизложенные беспорядки, — читаем в «Очерке», — приводили народ в отчаяние» и толкали его на «бунты». «Грузинские бунты», по убеждению Чавчавадзе, были направлены против царских властей, а не против всех русских вообще. После присоединения Грузии к России, пишет Чавчавадзе, «народ, упоенный надеждою будущего благоденствия, приносил богу искреннее благодарение и изъявлял свой восторг продолжительными увеселениями».

Чавчавадзе признает, что, несмотря на всю негодность системы управления краем, «Грузия сроднилась уже с Россией». Поэт настойчиво убеждает Николая I, что союз двух стран полезен не только для маленькой Грузии, но и для России.

Необходимо напомнить, что анологичное освещение русско-грузинских отношений давали Грибоедов и Пушкин.

Известно, что в 1828 году Грибоедов составил грандиозный проект хозяйственно-культурного преобразования Закавказья. Надо полагать, что Грибоедов делился своими мыслями о преобразовании Закавказья со своим другом и тестем Александром Чавчавадзе, который, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой, знал как прошлое, так и настоящее положение своей родины и мог высказать самое авторитетное мнение о ее будущности. Нет сомнения, что Чавчавадзе принимал участие в обсуждении вопросов, связанных с проектом Грибоедова — Завилейского, был в курсе дел, интересовался судьбой этого документа и читал его.

В проекте Грибоедова, как и в «Очерке» Чавчавадзе, говорилось о мятежах «от введения иного порядка, небывалых прежде соотношений, взыскательности начальства, желавшего скорости исполнения, послушания, дотоле неизвестных, и вообще от перемен, которым никакой народ добровольно не подчиняется».

Критикуя царскую администрацию в Закавказье, Грибоедов выдвигает идею «взаимных общих выгод» от укрепления союза России и Грузии.

Примерно за год до подачи «Очерка» Чавчавадзе Николаю I, появилось в свет «Путешествие в Арзрум» Пушкина. Грузинский поэт, как уже было сказано, по всей вероятности, читал его. Он мог найти в нем много такого, что соответствовало и его взглядам. Автор «Путешествия» также выступал против негодных методов управления краем, против жестокой колонизаторской политики, проповедовал мирные отношения и предсказывал грузинскому народу великую будущность.

Имеется определенная идейно-тематическая близость и между другими произведениями двух великих поэтов России и Грузии.

Так, с пушкинской «Вольностью» перекликается одно из лучших стихотворений Чавчавадзе «К дворцу Павла I». Оба произведения свидетельствуют об интересе их авторов к теме убийства царя-тирана. Описывая красоту дворца, возведенного «любителем роскоши и славы», Чавчавадзе говорит о «загадочном» убийстве в нем Павла I.

Исследователями установлено созвучие между вольнолюбивой лирикой Пушкина и остро политическим стихотворением Чавчавадзе «Горе миру», между пушкинским «Блаженством» и «Ерт гзис хелман», между «Добрым советом» и «Мухамбази латаиури».

Образованнейший человек своего времени, прекрасный знаток восточной, западной и русской литературы — А. Чавчавадзе был блестящим переводчиком Расина и Корнеля, Лафонтена и Вольтера, Гюго, А. Одоевского и персидских поэтов. Но особенно увлеченно и вдохновенно переводил он Пушкина.

Чавчавадзе одним из первых начал популяризировать на грузинском языке творения великого русского собрата. Еще при жизни Пушкина, в 1830 году, в газете «Тбилисис уцхебани» («Тифлисские ведомости», № 2) был напечатан чавчавадзевский перевод «Пробуждения» («Меч-

ты, мечты, где ваша сладость»?)[1]. Это было первым печатным произведением Пушкина на грузинском языке, первым и единственным из всех оригинальных и переведенных стихотворений Александра Чавчавадзе, увидевшим свет при жизни грузинского поэта[2].

Уже здесь сказались особенности переводческого искусства Александра Чавчавадзе: глубокое проникновение в поэтический мир Пушкина, любовно-бережное отношение к его творениям, стремление к адекватной, максимально точной передаче содержания и формы оригинала, умение находить соответствующие грузинские художественно-выразительные средства и подходящие стихотворные размеры для передачи тончайших оттенков и нюансов пушкинских творений.

Эти особенности довольно хорошо показаны в работах К. Дондуа[3], И. Гришашвили[4], Д. Гамезардашвили[5], И. Боголюбова[6], А. Кенчошвили[7] и других исследователей и потому здесь можно ограничиться краткими сведениями и замечаниями.

Помимо «Пробуждения»[8], А. Чавчавадзе перевел «К Н. Я. Плюсковой», «Анчар», «Обвал», «Друзьям», «Цветок» и «Медный всадник» (отрывок). Возможно, были переведены и другие пушкинские творения, но из литера-

---

[1] Известно, что оно написано Пушкиным в 1816 г. и опубликовано в «Северном наблюдателе» в 1817 г. (ч. II, №25) В измененном виде «Пробуждение» было напечатано автором в 1826 г. Сравнение оригинала с переводом показывает, что А. Чавчавадзе имел под рукой это последнее — переработанное стихотворение Пушкина.

[2] Хотя и под этим стихотворением фамилия переводчика не была указана.

[3] К. Дондуа. Пушкин в грузинской литературе (сб. «Пушкин в мировой литературе», 1926, стр. 207—208).

[4] И. Гришашвили. Литературные очерки, 1952, стр. 122—125 (на груз. яз.). Его же примечания к сочинениям А. Чавчавадзе, изд. 1940 г., стр. 317—322 (на груз. яз.).

[5] Д. Гамезардашвили. А. Чавчавадзе и грузинский романтизм, 1948, стр. 174—178 (на груз. яз.).

[6] И. Богомолов. А. Чавчавадзе и русская культура, 1964, стр. 47—61.

[7] А. Кенчошвили. А. Чавчавадзе, 1953, стр. 53—57.

[8] «Пробуждение» перевели также грузинские литераторы первой половины XIX века С. Размадзе и Л. Исарлишвили. чавчавадзевскому переводу «Пробуждения» подражал некто И. Цицишвили.

турного наследия Александра Чавчавадзе до нас дошло далеко не все, а сохранившееся не датировано.

Характерно, что среди поэтов разных стран, переведенных Александром Чавчавадзе, первое место занимает Пушкин.

Благодаря Чавчавадзе на грузинском языке впервые прозвучали такие вольнолюбивые стихотворения Пушкина, как «К Н. Я. Плюсковой» и «Анчар».

Известно, что первое из них было напечатано в 1819 году в журнале декабристского направления «Соревнователь просвещения». Н. Я. Плюскова — фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, снискавшей к себе уважение в декабристских кругах. Александр Чавчавадзе перевел текст под заглавием «К императрице Елисавете»[1]. Переводчику блестяще удалось передать дух оригинала. Особенно интересны первая и последняя строфы, прославляющие «гордую свободу».

У Пушкина читаем:

«На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе в гордости свободной
Кадилом лести не кадил.
. . . .
Любовь и тайная Свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа» (II, 65).

Эти места Чавчавадзе передал довольно точно, лишь последнюю строчку немного видоизменил; в обратном дословном переводе она звучит так: «голос моей песни передавал (выражал) чувство русских».

Образцом совершенства переводческого мастерства назвал известный грузинский поэт Тициан Табидзе[2] перевод пушкинского «Анчара», выполненный Александром Чавчавадзе.

Весьма показательно само обращение грузинского поэта именно к этому прославленному тираноборческо-

---

[1] Первоначально это стихотворение Пушкина называлось «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны».

[2] Сб. «Летопись дружбы грузинского и русского народов...», 1961, т. II, стр. 261.

му стихотворению, в котором автор столь смело выступил против деспотизма и попрания элементарных человеческих прав в последекабрьскую эпоху чудовищной реакции и царского произвола.

Если при переводе «Пробуждения» А. Чавчавадзе использовал четырнадцатисложный размер, здесь, «не имея возможности перевести «Анчар» четырехстопным ямбом, т. к. этот размер не является характерным для грузинского стихосложения, А. Чавчавадзе переводит стихотворение десятисложным размером с цезурой посередине. Этот размер оказался столь удачным, что им, в основном, переводили Пушкина не только сам А. Чавчавадзе, но и многие из последующих переводчиков русского поэта»[1].

Поэм А. Чавчавадзе не писал и не переводил. Пушкинский «Медный всадник» в этом отношении является исключением. Грузинский поэт перевел лишь часть вступления к поэме, причем перевел белыми стихами (он одним из первых в грузинской поэзии использовал белый стих). Перевод свидетельствует о живом интересе Чавчавадзе к проблеме государства и личности, к теме Петра, Петербурга и к другим большим вопросам, затронутым в знаменитой пушкинской поэме.

Свой перевод «Обвала» — одного из лучших образцов пушкинской пейзажной лирики—Чавчавадзе назвал «Кавказским обвалом». Выше было сказано, что Пушкин в своем стихотворении поет настоящий гимн борющемуся и побеждающему Тереку, как символу борьбы против деспотизма и угнетения, что автор вкладывает в этот образ и свое личное настроение, ненависть к тирании, стремление к свободе. Эти настроения, видно, были близки А. Чавчавадзе. В его переводе мы не только видим яркую картину единоборства стихийных сил природы, но и ощущаем определенную взволнованность и сочувствие борющемуся Тереку. Установлено, что А. Чавчавадзе много работал над переводом, усовершенствовал его, тщательно подбирал соответствующие звучные слова для передачи звукозаписи оригинала и достиг блестящих результатов.

---

[1] И. Богомолов. А. Чавчавадзе и русская культура, 1964, стр. 51.

Такую же взыскательность проявлял А. Чавчавадзе и в работе над переводом «Цветка». Это стихотворение в Грузии в прошлом же веке пользовалось большой популярностью. По справедливому замечанию К. Дондуа, «его распевали и распевают... даже в глухих деревнях»[1]; чавчавадзевскому переводу «Цветка» подражали К. Эристави, некий Ше[рвашидзе] и другие литераторы.

Как «Цветок», так и другое стихотворение Пушкина «Друзьям» («Богами вам еще даны») в дореволюционной Грузии считались оригинальными произведениями Александра Чавчавадзе. В связи с этим имели место даже курьезные случаи. Например, думая, что стихотворение «Видремдис гконан» (перевод пушкинского «Друзьям») является оригинальным произведением Александра Чавчавадзе, Н. Реулло перевел его на русский язык и включил в сборник «Из грузинских поэтов» (1914).

Вообще переводы (и не только переводы, конечно) Чавчавадзе широко распространялись среди читателей в рукописях сразу же после их написания, а некоторые перекладывались на музыку и распевались народными певцами. «До сих пор поются грузинскими девушками романсы и стансы Пушкина, переложенные Александром Чавчавадзе на грузинский язык», — писал в семидесятых годах К. Бороздин[2].

Одна из великих заслуг Александра Чавчавадзе, — по справедливому замечанию И. Гришашвили, — заключается в том, что он первый дал почувствовать грузинскому читателю силу таланта гениального русского поэта, а своим собратам по перу указал путь к познанию его творчества[3].

2

В одной из своих статей о грузинской литературе Илья Чавчавадзе писал, что продолжателем поэзии Александра Чавчавадзе является Григол Орбелиани.

---

[1] Сб. «Пушкин в мировой литературе», 1926, стр. 207.
[2] К. Бороздин. Закавказские воспоминания, 1885, стр. 7.
[3] Сб. Пушкин в Грузии, 1938, стр. 140 (на груз. яз.).

«Вместе с тем он внес в развитие грузинской поэзии разнообразие, двинул ее вперед как в отношении содержания, так и формы, поскольку поэт совершенно изгнал персидские мотивы и испещренный мифологическими именами лексикон, чем в некоторой мере грешил Александр Чавчавадзе».

Григол (Григорий) Дмитриевич Орбелиани (1800—1883) был младшим современником Александра Чавчавадзе, испытавшим в молодости его влияние. Отец его — Дмитрий (он же Зураб) — один из приближенных царя Ираклия II, человек русской ориентации, после присоединения Грузии к России занимал должность «заседателя».

Будущий поэт еще в детстве изучил русский язык. Первоначальное образование он получил в Тифлисском благородном училище, но курса не окончил, так как оттуда его перевели в артиллерийскую школу, организованную в Тбилиси Ермоловым.

Юношей Гр. Орбелиани начал военную службу в 21-й артиллерийской бригаде. Первое боевое крещение молодой юнкер получил в 1822 году. Впоследствии, участвуя в русско-персидской и русско-турецкой войнах, Орбелиани завоевывает славу храброго офицера[1].

За причастность к заговору 1832 года Гр. Орбелиани был арестован и послан на военную службу в Польшу, откуда вернулся на родину лишь в 1837 году. В пятидесятые годы он управлял Джаро-Белаканской областью, затем — Прикаспийским краем, воевал против Шамиля, достиг чина генерал-адъютанта и дважды кратковременно исполнял обязанности наместника царя на Кавказе.

Гр. Орбелиани выдвинулся в «ермоловское время» и пользовался особым уважением и покровительством «проконсула Кавказа». Он принадлежал к числу тех «младых повес», у которых шумные забавы сочетались с серьезными занятиями и прогрессивными идеями. В его творчестве переплетаются различные темы и

---

[1] См. ИР, картотека Вейденбаума («Орбелиани Гр. Д.»); ср. Труды Зугдидского историко-этнографического музея, 1947, т. I, стр. 345—372.

мотивы. Певец вина, любви и наслаждения, он нередко пишет грустные элегии о непрочности счастья и превратности судьбы; автор сугубо личных любовных посвящений создает пламенно патриотические и гражданские стихи, перекликающиеся с вольнолюбивой лирикой Пушкина и декабристов.

Гр. Орбелиани, при всей классовой ограниченности его мировоззрения, не были чужды передовые социально-политические идеи эпохи. В одном из своих произведений он говорит, что человека надо уважать не за знатное происхождение, а за личные достоинства. Поэт сочувствовал и симпатизировал социальным «низам», обездоленной городской бедноте. (В этом отношении особенно выделяется произведение «Муша Бокуладзе», написанное белым стихом.)

Многие произведения Гр. Орбелиани отличаются ораторским стилем, характерным для гражданской лирики. Это особенно относится к патриотическим стихам, составляющим лучшую часть творений поэта.

Глубоко ошибаются те исследователи, которые усматривают в историко-патриотических произведениях Орбелиани («Ярали», «Заздравный тост» и др.) «антирусские мотивы» и идеализацию прошлого в духе реакционного романтизма. Известно, что своеобразное «улучшение истории» и ее противопоставление царскому режиму характерно было и для декабристов. Хотя Гр. Орбелиани не поднимается до революционного патриотизма декабристов, но он ближе к ним, чем к романтикам реакционно-националистического направления. Произведения Орбелиани на историческую тематику проникнуты пафосом борьбы против исконных врагов Грузии— персидско-турецких завоевателей, а не против России. В отдельных стихах, написанных «эзоповским языком», и в письмах Гр. Орбелиани критикуется не Россия, а царский режим. Подобно Пушкину, Грибоедову, декабристам и А. Чавчавадзе он часто осуждал жестокую колонизаторскую политику и бесчинства царских башибузуков.

«Русское чиновничество, — писал Гр. Орбелиани, —

неподражаемо в умении вселять к себе ненависть народов»[1].

Однако, несмотря на жестокие методы управления краем, союз Грузии с Россией, по словам Гр. Орбелиани, это — «и водворение мира в любимой Грузии, и освобождение тысячи пленных христиан... и пароходы, и проведение каналов для орошения многих десятин безлюдной земли, и проекты железной дороги, и многое, многое, которое или совершилось, или совершается теперь»[2].

Вся деятельность и творчество Гр. Орбелиани свидетельствуют о том, что он хорошо понимал значение союза с русским народом, высоко ценил и пропагандировал передовую русскую культуру, вольнолюбиво-патриотическую лирику Пушкина и поэтов-декабристов. В этом отношении особенно выделяются произведения Орбелиани «Мое путешествие из Тифлиса в Петербург».

Известно, что в июне 1831 года Гр. Орбелиани «по воле начальства был командирован в образцовый пехотный полк», расположенный в Новгороде. Это была первая поездка поэта в Россию, имевшая огромное значение для его более близкого ознакомления с русской жизнью и культурой. Проездом он на несколько дней остановился в Москве, а 11 ноября прибыл в Петербург, откуда выехал в Новгород лишь через два с половиной месяца.

В Новгороде 11 марта 1833 года Григола Орбелиани, как участника заговора 1832 года, неожиданно арестовали и после допроса отправили в Грузию. В числе бумаг поэта, забранных царскими агентами во время ареста, была рукопись дневника, который Орбелиани вел, оказывается, с 9 июня 1831 года до конца 1832 года — как в пути, так и периодически в России.

В первой же части своего дневника, в записи 3 августа 1831 года, сообщая о своей встрече в пути с генералом И. Н. Абхази, направлявшимся в Польшу, Гр. Орбелиани останавливается на весьма злободневном для

[1] ИР, ф. Гр. Орбелиани, № 43, л. 4; И. Богомолов. Гр. Орбелиани и русская культура, 1964, стр. 17.
[2] Там же, стр. 18.

того времени политическом вопросе — на взаимоотношениях Грузии и России.

В форме диалога между автором и генералом И. Абхази излагаются две точки зрения на «судьбу Грузии». И. Абхази считает, что Грузии необходим прочный союз с Россией. «Уход русских из Грузии» привел бы ее к катастрофе — к обострению внутренних междоусобий и покорению турецко-персидскими завоевателями. Грузия сможет приобрести государственную самостоятельность лишь после того, как она «под покровительством России» окрепнет экономически и культурно, залечит нанесенные ей внешними врагами на протяжении столетий раны, объединится в единый национальный организм, разовьет общественное самосознание и вырастит собственные культурные кадры.

Гр. Орбелиани не соглашается с И. Н. Абхази, доказывая, что Грузия лучше справится с этими задачами не под игом самодержавной России, а в условиях самостоятельного государственного существования. У грузин, по мнению поэта, достаточно сил и патриотической сознательности для создания и удержания своего независимого государства. Персия и Турция больше не нападут на Грузию, так как из опыта знают, что в таких случаях Грузия всегда призывает на помощь Россию, а господство последней на Кавказе противоречит персидско-турецким интересам.

Поскольку в споре с генералом И. Абхази Гр. Орбелиани от своего имени («я сказал») излагает мнение о необходимости «немедленного изгнания русских из Грузии», следственная комиссия по делу о заговоре 1832 года усмотрела в нем проявление «антирусских» взглядов поэта. Такое же толкование давалось диалогу и в литературе. Однако углубленное изучение вопроса приводит к совершенно другим выводам.

Прежде всего бросается в глаза одно странное обстоятельство: в дискуссии между поэтом и генералом последний выглядит более сильным и правым, чем Гр. Орбелиани. Рассуждения Абхази обоснованы, логически аргументированы, трезвы и убедительны. Генерал выступает более горячим грузинским патриотом и политически зрелым человеком, чем поэт-романтик. Любопыт-

но, что Гр. Орбелиани сам, вопреки ожиданию, способствует созданию именно такого впечатления не только пространным изложением мыслей «противника», но и своими похвалами в его адрес. Поэт пишет, что И. Н. Абхази «сильно и правдиво описал нынешнее положение Грузии, которую он любит, как истинный сын отечества».

Как же объяснить эту странность?

Разгадку мы находим в показаниях Гр. Орбелиани. 17 марта 1833 года следователь записывает словесное показание поэта, утверждавшего, оказывается, что «повод к сему разговору подал сам князь Абхазов, который между прочими разговорами о бывшем тогда в Польше возмущении отозвался: «Дай бог, чтобы до приезда моего в Польшу русские окончили сию войну, ибо она может иметь большое влияние на Грузию», и когда князь Орбелианов [Гр. Орбелиани] спросил у него: почему, то он отвечал, что вероятно поляки начали войну в надежде на вспомоществование других держав, а особенно Франции, что на турок тоже нельзя полагаться, чтоб и они не приняли в сем деле участия, а потому я и боюсь, чтоб русские не оставили Грузию. А как князь Орбелианов прежде сего имел разговор с Елизбаром Эристовым и Александром Орбелиановым, которые отзывались ему насчет возможности Грузии быть самостоятельным государством, против чего он, князь Орбелианов [Гр. Орбелиани] возражал, то дабы еще более удостовериться в справедливости таковых своих отзывов, он и завел с князем Абхазовым помянутый разговор.

Все возражения, сделанные князю Абхазову насчет будто бы возможности Грузии быть самостоятельною, не имеют никаких оснований, а были представлены единственно для того, дабы узнать по сему предмету его мысли и чрез то оправдать собственные свои прежние предположения»[1].

Таким образом, если поверить этому показанию, Гр. Орбелиани прибег к довольно известному приему выяснения истины путем подобного рода споров: в дискуссии с И. Абхази он высказывал не свои мысли, а мнения

---

[1] ЦГИАТ, ф. 1457, т. XX, лл. 3988—3989.

Е. Эристави и А. Орбелиани (видные участники заговора 1832 года), с которыми поэт, оказывается, спорил незадолго до отъезда из Тбилиси в Россию. Получается, что подлинное убеждение Гр. Орбелиани выражено словами И. Абхази, а не самого поэта. Иначе говоря, на одной позиции стояли И. Абхази и Гр. Орбелиани, на другой — Е. Эристави и Ал. Орбелиани. Первые выступали за союз Грузии с Россией, вторые — против такого союза.

Естественно, возникает вопрос: заслуживает ли доверия утверждение поэта, будто он в разговоре с генералом И. Абхази нарочно встал на позицию своих противников, чтобы этим лишний раз убедиться в правильности собственной точки зрения? Не приписал ли Гр. Орбелиани свои взгляды Елизбару Эристави и Александру Орбелиани, чтобы тем самым спасти себя? Эти вопросы возникли еще в следственной комиссии. В связи с этим были допрошены Е. Эристави и А. Орбелиани, которые подтвердили правильность показаний поэта[1]. Тем самым вопрос окончательно выяснился не только для следственной комиссии, но и для нас (было бы странным усомниться в искренности показаний Е. Эристави и А. Орбелиани, говоривших на следствии не в свою пользу).

После этого становится ясным, почему в «Путешествии» не Гр. Орбелиани, а его оппонент выглядит более сильным и правым, «истинным сыном отечества».

Не зная или не учитывая всего комплекса указанных фактов (показания Гр. и Ал. Орбелиани, убедительность рассуждений генерала И. Абхази, высокая оценка, данная ему поэтом), некоторые исследователи неправильно освещали вопрос об отношении Григола Орбелиани к России и к русской литературе. Ошибочность их мнения доказывается не только приведенными выше следственными материалами, но и всем содержанием «Путешествия» Гр. Орбелиани. Здоровый патриотизм, которым проникнуто это произведение, не имеет ничего общего с антирусским национализмом. Автор везде положи-

---

[1] ЦГИАТ, ф. 1457, т. XXI, л. 4154; ср. Г. Гозалишвили «Заговор 1832 года», Тбилиси, 1935, стр. 481 (на груз. яз.).

тельно отзывается о русском народе, его славной истории и культуре. Поэт не скрывает своей симпатии к освободительным и патриотическим подвигам русского народа, его прославленных сынов.

Так, он с гордостью пишет, что «Кремль был свидетелем ряда столетий и великих событий. Здесь родилась первая мысль об освобождении России. Когда разгромленная страна стонала под татарским игом, здесь Дмитрий Донской развернул черное знамя против Мамая — татарского хана».

С большим уважением говорит Орбелиани о знаменитом полководце Кутузове, «освободившем Россию от нашествия Бонапарта», о превосходной игре великого русского актера Мочалова, о «преждевременно погибшем Грибоедове», пьесу которого смотрел поэт на сцене петербургского театра.

В своем «Путешествии» Гр. Орбелиани называет и характеризует свыше двухсот лиц. Здесь говорится о П. Багратионе и Николае I, о Наполеоне и атамане Платове, о грузинских царевичах, сосланных в Россию, и русских офицерах и солдатах, среди которых приходилось жить поэту...

Тот факт, что Гр. Орбелиани с увлечением изучал и любовно описывал жизнь и культурные достижения России, свидетельствует не только о симпатиях автора к ней, но и о его стремлении использовать достижения и опыт России на благо Грузии. На допросе поэт сам признал, что хотел ознакомить с «Путешествием» своих соотечественников[1].

Из всего сказанного следует, что автор «Путешествия» хорошо понимал прогрессивное значение союза Грузии с Россией, что его взгляды в этом вопросе совпадали с воззрениями автора «Путешествия в Арзрум», Грибоедова, декабристов, Александра Чавчавадзе и других прогрессивных деятелей эпохи.

Путевой очерк Гр. Орбелиани интересен и в другом отношении. В нем выражены республиканско-просветительские взгляды автора. Грузинский поэт страстно осуждает деспотизм и прославляет республиканский строй.

---

[1] ЦГИАТ, ф. 1457, т. XVIII, л. 3508; ср. т. XXII, л. 4348.

Сообщая о своем прибытии в Новгород, он записывает в дневнике:

«В Новгород я вступил, перейдя хороший— с чугунными перилами — мост, перекинутый через речку Волхов. Когда вошел в город, была уже ночь, не мог требовать квартиры и потому остановился в итальянском трактире. Мысли о Новгороде долго не давали мне спать. Моему воображению представились: их [новгородцев] прежнее республиканское правление, богатство, торговля и бодрость его [Новгорода] граждан, вечевой колокол, по звону которого собирался народ для решения трудных дел, распри Новгорода с московскими царями и далее покорение его царем Иваном Грозным. Пока Новгород был республикой, он расцветал торговлей, бодростью, богатством, был просвещеннее других [частей] России и уцелел даже от рабства татар; теперь же не видно и тени его прежнего могущества. Железная рука завладела им и уничтожила все его величие».

В «Путешествии» не раз говорится о самоотверженной борьбе новгородцев за свободу и о «варварстве» Ивана Грозного. При этом Гр. Орбелиани, подобно декабристам, широко пользуется фактическим материалом «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, но дает событиям не карамзинское, реакционно-охранительное, а декабристское освещение.

Декабристы любили, как известно, напоминать о древнем новгородском народоуправстве, о славе древнерусских республик. Руководитель Южного общества Пестель показывал на следствии: «История великого Новгорода меня также убеждала в республиканском образе мыслей»[1].

«Ты около Пскова, — писал глава Северного общества Рылеев А. С. Пушкину в январе 1825 года, — там задушены последние вспышки русской свободы, настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы»[2].

Итак, Гр. Орбелиани, проведший в Новгороде около

---

[1] Восстание декабристов, т. IV, стр. 91.

[2] К. Ф. Рылеев. Стихотворения, статьи, очерки, 1956, стр. 302.

года, описал его прошлое в духе русских дворянских революционеров. Его «Путешествие из Тифлиса до Петербурга» перекликается и с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева (глава «Новгород»), и с «Путешествием в Арзрум» Пушкина, и с теми произведениями декабристов, в которых резко осуждается кровавая диктатура Ивана Грозного и идеализируется новгородская вольность, как символ республиканского строя («Певец в темнице» В. Раевского, думы Рылеева о Вадиме и Марфе Посаднице, «Роман и Ольга» Бестужева-Марлинского, парижские лекции Кюхельбекера и др.).

Другое оригинальное произведение Гр. Орбелиани на русскую тему — «Случай[1], рассказанный в рижском госпитале» — написано в 1835 году, в период пребывания автора на военной службе в Прибалтике, но впервые оно было опубликовано лишь в 1945 году исследователем Д. Чумбуридзе[2].

Этот небольшой рассказ выделяется острым социальным содержанием. В нем повествуется о трагической истории девушки, которая в восьмилетнем возрасте лишилась родителей.

Выше было сказано, что из грузинских поэтов именно Гр. Орбелиани наметил, условно говоря, пушкинскую линию в изображении Терека. Имеется в виду одно из лучших стихотворений Орбелиани — «Вечер разлуки» (вернее «Вечер расставания», 1841), в котором поэт впервые в грузинской поэзии дал великолепную картину буйного течения Терека среди безмолвных громад, связав с ней свои личные переживания. Замечательным аккордом звучит конец стихотворения, ассоциирующийся с заключительными строками пушкинского «Кавказа».

«Громады немые безмолвно
Стоят, прислонясь к небосклону;

[1] Грузинское слово «эмбави» можно перевести как случай или история, событие, происшествие, приключение, рассказ, сказание, «слово».

[2] См. газету «Литература да хеловнеба», 1945, № 11 (на груз. яз.).

Сияет звезда над Казбеком
Алмазом бесценной короны.

Потоки с вершин низвергаясь,
Теряются в бездне косматой,
И Терек несется и воет,
В горах порождая раскаты».

(Перевод А. Островского.)

Это талантливое стихотворение имело огромное значение не только для развития грузинской пейзажной лирики. Показательно, что именно его цитирует в своих «Записках проезжего» вождь грузинских шестидесятников «тергдалеулни» («терековцев») Илья Чавчавадзе, поющий настоящий гимн Тереку и признававший, что между его мыслями и бушующим Тереком «существует какая-то тайная связь. Некое гармоническое единство».

Перу Гр. Орбелиани принадлежит ряд переводов с русского (Крылова, Пушкина, Рылеева, Жуковского, Лермонтова). Поэт часто прибегал к приемам вольного перевода, или, как сам называл, подражаниям. Не заботясь о точной передаче оригинала, он нередко пользовался русским произведением в качестве материала или отправной точки для выражения своих собственных мыслей и настроений, созвучных мыслям и настроениям переводимого автора.

В период мрачной реакции, на рубеже 20—30-х годов, когда имя Рылеева было под строгим запретом, Гр. Орбелиани перевел его «Исповедь Наливайко». Переводчик хорошо передал патриотическо-вольнолюбивый пафос оригинала, но настолько приспособил произведение к грузинской действительности, что оно производит впечатление не перевода, а оригинального грузинского стихотворения. Острие его направлено не против России, вопреки утверждениям некоторых исследователей, а против персидских и турецких завоевателей[1].

---

[1] По показанию Гр. Орбелиани, он приспособил перевод «к Грузии потому, что она была прежде точно в таком же положении как Малороссия, когда была разоряема персами и турками» (ЦГИАТ, ф. 1457, т. XX, л. 3978).

«Украина» в переводе заменяется словами «Родина» и «Иверия» (Грузия), «шляхи» — словом «турки».

Следует заметить, кстати, что с «Исповедью Наливайко» и другими вольнолюбивыми стихотворениями Рылеева (особенно «Я ль буду в роковое время...») и Пушкина («Вольность», «К Чаадаеву», «Кинжал») сродни и оригинальное творение Гр. Орбелиани «Миси сахели» («Да будут преданы позору имена бестрепетных людей, забывших об отчизне»).

Два стихотворения Гр. Орбелиани озаглавлены «Подражание Пушкину». Это — «Пир» (1830), являющийся, собственно говоря, не подражанием, а довольно близким к оригиналу переводом «Веселого пира» Пушкина (1819).

В печати известен был следующий текст этого стихотворения:

«Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А Свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово пей!
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен» (II, 100).

Продолжая этот текст, Гр. Орбелиани в свой перевод вводит образ возлюбленной, которую герой не может забыть и которая на рассвете упрекает его за участие в пиршестве. Отмечая, что в черновике «Веселого пира» Пушкина имелось продолжение, где также фигурирует женщина (II, 578), литературовед И. С. Богомолов выдвинул любопытную, хотя весьма спорную гипотезу, что грузинский поэт имел доступ к рукописному варианту оригинала[1].

Другому «Подражанию Пушкину» (1847) Гр. Орбелиани предпослал на русском языке первую строку оригинала — «Дар напрасный, дар случайный» (1828). Это — типичный для грузинского поэта вольный перевод. Гр. Орбелиани талантливо передает дух пушкинского творения, гармонирующий и с его собственным

---

[1] И. Богомолов. Гр. Орбелиани и русская культура, 1964, стр. 75.

настроением. Перевод шире оригинала, но не отходит от него, хотя производит впечатление самобытного произведения Гр. Орбелиани.

Видимо, эта оригинальность «подражаний» (вольных переводов) побудила Н. Заболоцкого дать «обратный перевод» обоих стихотворений на русский язык[1].

Вообще давно установлены «глубокие следы влияния Пушкина» на лирику Гр. Орбелиани, в частности, — пушкинской элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты» (1823) на стихотворения грузинского поэта «М», написанное в Пулкове в 1831 году, «Со...ор..» (1835) и т. д.[2].

Установлено также, что в грузинских общественно-литературных кругах Гр. Орбелиани пользовался славой превосходного переводчика Пушкина и других русских поэтов. В этом отношении показательны обращения известной Мананы Орбелиани к Гр. Орбелиани с настоятельными просьбами — перевести поэму Пушкина «Руслан и Людмила»[3].

«Переведи мне эту книгу, дорогой, так же сильно и хорошо, как она написана по-русски... Где бы то ни было, достань ее и переведи», — писала в мае 1835 года Манана Орбелиани поэту, находившемуся тогда в России.

---

[1] Гр. Орбелиани. Стихотворения. Перевел с грузинского Н. Заболоцкий, Тбилиси, 1947, стр. 21, 67.

[2] К. Дондуа. Пушкин в грузинской литературе (Сб. «Пушкин в мировой литературе», стр. 209—210).

[3] Манана Орбелиани — выдающаяся женщина, пользовавшаяся большой популярностью в Грузии. В тридцатых годах она находилась под надзором полиции «по делу о злоумышленном заговоре» (ЦГИАТ, ф. 16, оп. I, № 5743). Литературовед И. Меунаргия называет ее «Нашей Рекамье, в салоне которой собиралось все, что было выдающегося в Тбилиси в области литературы и искусства» (Сб. сочинений Н. Бараташвили, 1922, стр. XXV, на груз. яз.). В «Хаджи-Мурате» Л. Н Толстого читаем: «Войдя мягкими, поспешными шагами, он [М. С. Воронцов] извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и, подойдя к грузинской княгине Манане Орбелиани, 45-летней, восточного склада, полной высокой красавице, подал ей руку, чтобы вести ее к столу».

Та же просьба повторяется 22 июля 1835 года[1]. К сожалению, не знаем, выполнил ли Гр. Орбелиани просьбу.

3

Николоз (Николай) Мелитонович Бараташвили (1817 — 1845) происходил из знатного, но обедневшего рода. Отец его для своего времени был человеком образованным. Кроме грузинского, он хорошо знал русский, армянский и азербайджанский языки. Мать будущего поэта приходилась родной сестрой Гр. Орбелиани. В гостеприимном доме Мелитона Бараташвили нередко бывали представители грузинской и русской интеллигенции, в том числе А. Чавчавадзе.

В 1827 году Н. Бараташвили отдают в Тифлисское благородное училище, преобразованное через три года в классическую гимназию. На этом учебном заведении следует остановиться подробнее, поскольку с ним связаны имена многих деятелей грузинской культуры.

Тифлисская гимназия часто сравнивается исследователями с Царскосельским лицеем. И действительно, она сыграла в развитии передовой грузинской общественной мысли и литературы исключительную роль. В гимназии обучались, помимо Бараташвили, Г. Орбелиани, В. Орбелиани, М. Туманишвили, Д. Кипиани, Л. Исарлишвили, Г. Эристави, Д. Мачабели, К. Мамацашвили и другие поэты, журналисты, ученые, военачальники.

В числе преподавателей видим Соломона Додашвили, Ник. Дементьева и Эл. Манасейна, которые прививали учащимся любовь и вкус к литературе. Стихотворство здесь весьма поощрялось. Отдельные произведения учеников гимназии С. Додашвили помещал даже в своем журнале.

После ареста Соломона Додашвили и закрытия «Тифлисских ведомостей», в 1835 году, ученики начали выпускать на русском языке рукописный журнал «Цве-

---

[1] Сб. «Пушкин в Грузии», 1938, стр. 184—185 на (груз. яз.).

ток тифлисской гимназии». До нас дошло пять номеров (тетрадей), вышедших в 1835—1836 годах[1].

В журнале помещались не только «классные упражнения», как указывалось в программной статье «Цветка», но и другие материалы.

Произведения Н. Бараташвили, помещенные в «Цветке», не сохранились, но по оглавлению, напечатанному на обложке журнала, мы узнаем их названия: «О папской власти», «Письма из деревни» и перевод отрывка из поэмы грузинского писателя XII столетия С. Тмогвели «Висрамиани». «Издателем» и главным сотрудником журнала был М. Туманишвили, редактором — М. Бебутов.

«Цветок» свидетельствует о высоком культурном уровне и прогрессивных взглядах учеников гимназии. Они старались продолжить традиции «Тифлисских ведомостей». Журнал состоял из следующих отделов: русская словесность, иностранная словесность, науки и художества, промышленность и сельское хозяйство, критика и смесь. Центральное место в журнале занимала литература — особенно русская.

В журнале довольно сильно ощущалось влияние Пушкина и декабристской литературы. Поскольку «Цветок» выходил на русском языке, здесь не могло быть переводов произведений Пушкина и других русских писателей, но ученики нередко говорили о них или подражали им в своих сочинениях. Так, например, в третьем номере журнала помещено историческое повествование Мих. Бебутова «Смерть Ермака». Как заглавие этого произведения, так и трактовка темы и сюжетная линия весьма близки к рылеевской думе («Смерть Ермака»).

Преклонением перед Пушкиным и декабристской литературой выделялся «издатель» журнала Михаил Биртвелович Туманишвили (1818—1875), близкий друг и литературный собрат Николоза Бараташвили, одинаково хорошо писавший на русском и грузинском языках.

Туманишвили особенно увлекался поэзией Пушкина. В 1833 году он составил антологию стихов, куда

[1] Они хранятся в ИР, ф. М. Б. Туманишвили, VI, № 572.

включил, наряду с оригинальными произведениями Н. Бараташвили, Гр. Орбелиани, Г. Эристави и других грузинских поэтов, собственный перевод отрывков из «Кавказского пленника» Пушкина. Ему же принадлежат переводы стихов поэта «Я помню чудное мгновенье...», «Адели», «Зимний вечер», «Пророк» и отрывков из «Бахчисарайского фонтана» и «Каменного гостя»[1]. Кроме того, в рукописях Михаила Туманишвили мне удалось обнаружить переписанные им отрывки из произведений Пушкина «Цыганы», «Дар напрасный, дар случайный...» и «В часы забав иль праздной скуки», а также «Горные вершины» — Лермонтова[2], «Ты светлая звезда» — Вяземского[3] и «О развитии революционных идей в России» — Герцена[4]. Возможно, Туманишвили собирался перевести эти произведения на грузинский язык.

Отголоски пушкинской поэзии чувствуются в таких стихотворениях Туманишвили, помещенных в «Цветке», как «Кавказ», «Элегия», «Поэт и вдохновение», «Уединение», «К другу» и т. д.[5]. Первое из них, несомненно, навеяно «Кавказом» Пушкина. Вот оно:

«Недосягаемый Кавказ в моих очах!
Ровесник двух миров стоит передо мною!
К нему парю я в сладостных мечтах,
Обвороженный весь пустынных скал красою.

Громады вечных льдов на каменных хребтах, —
Казбек и Эльбрус там высятся главами, —
Утесы там стоят друг другу на плечах,
Как будто меж земли и неба сторонами.

Растянуты поля пестреющим ковром
Под исполинскими высоких гор стопами;
Шумят расплавленным в пучине серебром
Каскады дивные под мшистыми скалами.

---

[1] См. «Пушкин в Грузии», сборник статей и материалов. Тбилиси, 1938, стр. 170—172, 181—182, 226 (на груз. яз.).

[2] Все они хранятся в ИР, ф. М. Б. Туманишвили, VI, № 521.

[3] Там же, № 219.

[4] Там же, № 25—26.

[5] В «Цветке» М. Б. Туманишвили выступал под псевдонимом «Граф Горский». Псевдоним связан, очевидно, с городом Гори (поэт родился недалеко от Гори).

Я здесь, друзья, — и мне ли выше вас не быть,
Кавказа дивного всей гордой вышиною?
Завидуйте, мне мир прекрасный сей открыт,
Открыт мне счастия блистательной зарею!»[1]

Любопытно, что в одном примечании к этому стихотворению Туманишвили ссылается на Марлинского: «Некоторые ученые полагают, что выси Кавказа не были затоплены во время всемирного потопа. См. у Клепрота, Марлинского».

Выясняется, что ученики гимназии наизусть заучивали и переводили не только лирические произведения Пушкина, но даже поэмы. В этом отношении интересно следующее воспоминание Л. Исарлишвили (учившегося в одном классе с Н. Бараташвили). Ученик Варламов, по словам Исарлишвили, перевел несколько глав из «Евгения Онегина» на грузинский язык. Переводчик тщательно скрывал от всех результаты своего труда, но Николозу Бараташвили удалось достать текст перевода. Перевод был весьма неудачный, и поэтому, когда Бараташвили неожиданно начал его читать в классе, среди гимназистов поднялся гомерический хохот, что вызвало бешенство у Варламова[2].

В 1835 году Н. Бараташвили окончил гимназию. Дальнейшая жизнь его сложилась печально. Жизнерадостному юноше, мечтавшему о великом будущем, пришлось всю жизнь провести скромным чиновником в канцелярии. Военной карьере помешала хромота, университетскому образованию — отсутствие средств. Поэт так и не смог вырваться из канцелярского омута. С 1836 года он служил в «Экспедиции суда и расправы», а в 1844 году ему пришлось оставить Тбилиси и занять должность помощника уездного начальника в Нахичевани. В начале 1845 года его переводят в Елизаветполь (Гянджа), где он и умер в том же году от лихорадки. Двадцативосьмилетний поэт сошел в могилу, не увидев в печати ни одного своего произведения.

---

[1] «Пушкин в Грузии», сборник, Тбилиси, 1938, стр. 176—177.

[2] Бараташвили. Стихотворения. «Судьба Грузии», письма, 1922, стр. XIV (на груз. яз).

Поэтическое наследие Бараташвили не велико — меньше сорока лирических стихотворений и одна историческая поэма «Судьба Грузии», но оно сыграло огромную роль в развитии грузинской литературы, в приобщении ее к русской и мировой культуре.

Известно, что Бараташвили был поклонником русской литературы. В его произведениях и письмах часто встречаются отдельные фразы из сочинений Пушкина, Лермонтова и других русских писателей.

Так, в письме к Гр. Орбелиани от 21 августа 1843 года Бараташвили пишет об И. Иоселиани: «Минувшее проходило перед ним и волновалось, как море-океан» и далее: «Вообще здесь и грустно, и скучно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды»[1]. Первая цитата взята из «Бориса Годунова» Пушкина, вторая — из известного стихотворения Лермонтова. Письмо написано на грузинском языке, приведенные же цитаты — на русском. Бараташвили цитировал наизусть, почему и допустил неточность.

Можно было провести определенные параллели в трактовке Наполеона у Пушкина («Наполеон на Эльбе», 1815; «Наполеон», 1821) и Бараташвили («Наполеон», 1838).

Далее, исследователями[2] уже отмечено, что одно из стихотворений Бараташвили начинается почти словами Пушкина: «Смирись, Кавказ» («Кавказский пленник»), а в послании грузинского поэта «Мои друзья» явно чувствуются мотивы пушкинских стихов «Друзьям» и «К Каверину».

Подобные совпадения представляют известный интерес для исследователя, но это, конечно, не главное. Если бы поэзия Бараташвили состояла из заимствованных фраз, стихов, образов, сюжетных ситуации, композиционных приемов, то, естественно, он бы не завоевал славу оригинального и самобытного поэта.

«Влияние великого поэта, — писал Белинский, —

---

[1] Н. Бараташвили. Стихотворения..., 1938, стр. 86 (на груз. яз.). В письме Н. Бараташвили (написанном на грузинском языке) к Александру Сагинашвили также встречаем два слова по-русски: «скучно», «грустно» (там же, стр. 96).

[2] Г. Н. Леонидзе, Т. П. Буачидзе и др.

заметно на других поэтов не в том, что его поэзия отражается в них, а в том, что она возбуждает в них собственные их силы: так солнечный луч, озарив землю, не сообщает ей своей силы, а только возбуждает заключенную в ней силу».

Поэзия Бараташвили выросла на основе великих достижений не только грузинской классики, но и русской и мировой поэтической культуры.

С Пушкиным, с героями 14 декабря Бараташвили сближала ненависть к деспотизму и тирании, неудовлетворенность господствующим режимом николаевской эпохи, любовь к свободе, родине, народу. Отсюда — общность идейной направленности, близость творческих принципов. Грузинскому поэту был близок мятежный дух поэзии Пушкина, Лермонтова, декабристов.

Как Пушкин, декабристы и Лермонтов в России, так Бараташвили в Грузии проникся передовыми идеями своей эпохи и привлек внимание поэзии к важнейшим социальным, политическим и философским проблемам, волновавшим его современников. Со всей страстью поэта-гражданина он воспел героическую борьбу за раскрепощение человеческой личности, за великое будущее своей родины и всего человечества. Подобно Пушкину, он стремился к тем просторам, где «солнце торжествует победу над тьмой ночной». Его бессмертное стихотворение «Мерани» — это гимн титанической борьбе человека с черными силами мира, могучий порыв, неудержимое стремление вперед, к высоким идеалам.

Подобно Пушкину и декабристам, лирический герой «Мерани» высказывает гордую уверенность, что его самоотверженный подвиг не пропадет даром, что своей борьбой он проложит поколениям путь к сияющим вершинам грядущего.

«Безумных сил твоих не пропадет затрата,
И не заглохнет путь, протоптанный тобой:
Им облегчу я путь грядущий для собрата,
Им облегчу борьбу грядущему с судьбой».

Бараташвили не был замкнутым камерным поэтом и холодным парнасцем; он не имел ничего общего ни с реакционным, мистическим романтизмом, ни с пышным

славословием и риторикой. Это был поэт больших мыслей и чувств. Его лирика — исповедь мятежной души, исповедь гражданина, озабоченного судьбой родины, народа, всего человечества. Поэзия Бараташвили отличается возвышенным лиризмом, большой философской глубиной, непосредственностью поэтического чувства. Расширив и углубив идейное содержание грузинской поэзии, Бараташвили, как подлинный новатор, реформировал стиль и язык грузинской лирики на основе лучших достижений грузинской и русской поэтической культуры и окончательно порвал с пережитками восточной витиеватой поэзии.

В творчестве Бараташвили воплотились и возвышенный патриотизм, и страстная жажда свободы, и животворящий оптимизм, и призыв к гражданскому подвигу во имя счастья народа.

«И тот не человек, и сердце в том мертво,
Кто жил и для людей не сделал ничего».

Глубоко волнующей теме посвящена поэма «Судьба Грузии» (1839) — единственное произведение поэта в эпическом жанре. Как автор «Полтавы» описал важнейшее событие из прошлого России, так Бараташвили изобразил один из узловых моментов грузинской истории— знаменитую Крцанисскую битву 1795 года. В поэме рисуется героическая борьба грузинского народа при Ираклии II против вторгшихся в пределы Грузии многочисленных персидских захватчиков. После Крцанисского сражения, где в неравной борьбе грузины потерпели поражение, Ираклий II беседует со своим канцлером Соломоном Леонидзе о судьбе Грузии. Эта беседа отчасти напоминает диалог между Гр. Орбелиани и генералом Абхази на аналогичную тему. Здесь также сталкиваются два мнения. По убеждению Ираклия II, необходимо прибегнуть к покровительству России, чтобы спасти обессиленную Грузию от восточных погромщиков и внутренних раздоров. Леонидзе не соглашается с доводами дальновидного царя, хотя и не может противопоставить им какое-либо другое решение вопроса. С первого взгляда может показаться, что автор не выражает своего мнения, а лишь объективно передает две точки зре-

ния, господствовавшие в тогдашней Грузии. Однако как само описание спора в поэме, так и другие произведения Бараташвили убеждают нас в том, что он видел будущее Грузии в прочном союзе с Россией. В более позднем стихотворении «Могила царя Ираклия» (1842) Бараташвили решительно оправдывает мудрый политический шаг грузинского царя. Поэт утверждает, что благодаря присоединению к России родная страна избавилась от кровопролитных войн и начала возрождаться.

«Судьба Грузии» представляет большой интерес и для выяснения взглядов Н. Бараташвили на форму государственного управления. В поэме рассказывается, как, возвращаясь к себе домой после беседы с Ираклием II, Соломон Леонидзе размышлял о том, что царь «своевольно играет людьми и целой страной».

«Но кто тебе, о царь, присвоил право,
Людьми распоряжаться и державой,
От замыслов не отступив на пядь,
Свободу верноподданных попрать?
Тебя народ облек высокой властью —
Вести его к величию и счастью.
О государь, как мог ты позабыть,
Что царь с людьми в согласье должен жить?!»

Нет сомнения, что конституционные идеи принадлежат самому автору. Известно, что в действительности Соломон Леонидзе никогда не проявлял никаких антимонархических тенденций. Следует заметить также, что во время Крцанисской битвы он вообще не находился при Ираклии. Н. Бараташвили, подобно декабристам, не соблюдает точности в изображении деталей, в известной мере отступает от исторической правды для того, чтобы лучше передать борьбу двух мнений и устами героя выразить свои собственные передовые политические взгляды.

С «Судьбой Грузии» связано и стихотворение Н. Бараташвили «Могила царя Ираклия» — замечательное по глубине мысли об огромном значении России для Грузии.

Многие деятели грузинской культуры, терпевшие гонения от восточных деспотов, находили приют в России и теперь, возвращаясь на родину, они приносили с собой богатые познания, приобретенные на Севере.

«Судьба изгнанникам дала изведать муку,
Но песнь они несут отчизне и науку.
И пламенной души неугасимый пыл
Льды севера своим пыланьем растопил.
Неоценимый сев воспринят отчим краем,
И он обрадует обильным урожаем!
Где властвовал грузин лишь силою клинка,
Уже за руль взялась спокойная рука!»

«Вот мое последнее стихотворение, — писал Н. Бараташвили Григолу Орбелиани, — которое я вписал в альбом князя Баратаева по его просьбе; он через два дня едет в Петербург с большим запасом сведений об исторической Грузии»[1].

Следует отметить, что Михаил Петрович Баратаев (Бараташвили, 1784—1856), которому посвящено это стихотворение, был сыном симбирского помещика, переселившегося в Россию в XVIII столетии. Участник Отечественной войны 1812 года, привлеченный к следствию по делу декабристов, М. П. Баратаев в 1839—1844 годах служил в Грузии, написал замечательное исследование «Нумизматические факты грузинского царства», принесшее автору большую славу.

Находясь в Грузии, М. П. Бараташвили часто посещал своего великого сородича и друга Н. М. Бараташвили. Помимо родства, их связывали, как выясняется[2], и научно-литературные интересы. Поэт в нем видел одного из тех ярких деятелей, которые воспитались на традициях передовой русской культуры, приобщились к поэзии Пушкина, к декабризму и способствовали духовному сближению двух народов. Поэт в жизни М. П. Баратаева видел как бы символ братства русского и грузинского народов.

Правильному решению вопроса о «судьбе Грузии» в немалой степени способствовало то обстоятельство, что деятельность самого Н. Бараташвили являлась «прямым следствием вхождения Грузии в Российское государство». Жизнь поэта протекала в городе, где наряду с

---

[1] Н. Бараташвили. Стихотворения, поэма, письма, 1938, стр. 96 (на груз. яз.).

[2] Подробно о М. П. Баратаеве см. в книге В. Шадури «Декабристская литература и грузинская общественность», 1958, стр. 546—549.

царскими сатрапами жили или гостили лучшие представители русской культуры — Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Одоевский, Бестужев-Марлинский и другие. Бараташвили рос и воспитывался в общении с этой средой, дышал ее воздухом.

4

К числу грузинских романтиков, преклонявшихся перед гением Пушкина, относится и Вахтанг Вахтангович Орбелиани (1812—1890). Отец его — полковник В. Д. Орбелиани погиб за два месяца до рождения будущего поэта. Мать — Текле — была младшей дочерью прославленного царя Ираклия II.

Получив хорошее домашнее воспитание под руководством матери, Вахтанг Орбелиани в 1820—1827 годах учится в Тифлисском благородном училище, после чего — в 1828—1829 годах — находится в Петербурге, в Пажеском корпусе.

«Годы, проведенные в Петербурге, не прошли для него даром. Здесь, по-видимому, впервые и начал увлекаться он Пушкиным — подлинным властителем его дум. Интерес к Пушкину не угасал у грузинского поэта до глубокой старости, можно сказать, до самой смерти» (К. Дондуа)[1].

Поскольку юноша был болезненным и петербургский климат для него оказался вредным, в конце 1829 года он возвращается в Грузию, где занимается самообразованием. Зная русский и французский языки, он «глотает» привезенные из Петербурга книги, начинает переводить русских авторов на грузинский язык и даже затевает постановку русских пьес.

Арестованный по делу «Заговора 1832 года», Заал Автандилов (Автандилашвили) показывал на следствии, что на квартире Вахтанга Орбелиани в Тбилиси часто собирались молодые люди, читали «прекрасные произведения», привезенные хозяином из Петербурга, репетировали переведенную им с русского комедию «Знакомые

---

[1] Сб. «Пушкин в мировой литературе», 1926, стр. 211.

незнакомцы», которая не была поставлена из-за недостатка средств[1]. Напомню, что «Знакомые незнакомцы» — водевиль драматурга и артиста Петра Андреевича Каратыгина (1805—1879).

Вахтанг Орбелиани, как и его старшие братья Александр (тоже литератор), Димитрий, как и их мать Текле были активными участниками раскрытого в 1832 году заговора. Поэт вместе с матерью был сослан в Калугу, откуда он вернулся в Тбилиси лишь в 1837 году. С тех пор В. В. Орбелиани почти все время находился на военной службе.

Писать и переводить художественные произведения В. Орбелиани начал еще в бытность в Пажеском корпусе и не выпускал пера из рук до самой смерти. Решительно отказавшись от перепевов персидской поэзии, он на всем протяжении своего творческого пути остался верным романтизму. Для его поэзии характерна идеализация прошлого Грузии, воспевание былых времен, исторических героев, особенно Ираклия II.

Описывая героические подвиги и перечисляя огромные заслуги своего великого деда, В. Орбелиани — в поэмах «Ираклий и Кохта», «Ираклий и его время» — затрагивает и вопросы русско-грузинских отношений. В этом вопросе у него не было расхождений с передовыми грузинскими и русскими поэтами того времени. Судьбу Грузии он рассматривал аналогично Александру Чавчавадзе, Гр. Орбелиани и Н. Бараташвили, одобряя мудрое решение Ираклия II о союзе с Россией.

«И на Север рукою
Указал он, такое
Слово молвил: «У этой страны
Помощь, братья, ищите».

Тем самым Ираклий II, по словам поэта, «спас нас».

Прекрасный знаток и ценитель русской поэзии, В. Орбелиани больше чем кто-нибудь другой из его современ-

---

[1] Г. Гозалишвили. Заговор 1832 года, Тбилиси, 1935, стр. 152—153 (на груз. яз.). То же самое подтверждает Д. И. Кипиани. Перевод пьесы, к сожалению, не сохранился.

ников переводил и подражал Пушкину, обрабатывал его мотивы и подвергался его влиянию.

В подзаголовках некоторых стихотворений В. Орбелиани сам указал, что они являются «подражаниями» (или «уподоблениями») Пушкину. Таковы: «Когда солнце заходит» (пушкинское «Воспоминание». «Когда для смертного умолкнет шумный день», 1828), «Раш жизни» («Телега жизни, 1823), «Кто видел» («Кто знает край», 1828), «Бушует буря» («Зимний вечер», 1825) и «Сонм красавиц» (52-ая строфа VII главы «Евгения Онегина», 1828).

Все они были напечатаны во второй половине XIX века, хотя, надо думать, некоторые из них переведены значительно раньше.

Эти произведения трудно назвать переводами, поскольку В. Орбелиани позволяет себе слишком большую вольность в обработке оригинала. В этом отношении он пошел гораздо дальше Гр. Орбелиани и других грузинских поэтов-переводчиков. О многих своих стихах В. Орбелиани мог повторить слова В. А. Жуковского: все они чужие или по поводу чужого, однако все они — мои. Грузинский поэт иногда так видоизменяет пушкинские творения, что они становятся трудноузнаваемыми. Нередко В. Орбелиани берет у Пушкина лишь темы и мотивы стихотворений, обрабатывая и освещая их совершенно оригинально, по-своему.

Так, например, если Пушкин в стихотворении «Кто знает край» воспевает Италию — «волшебный край, страну высоких вдохновений», «где пел Торквато величавый... где Рафаэль живописал... и Байрон, мученик суровый, страдал, любил и проклинал», — В. Орбелиани в своем «уподоблении» («Кто видел край прекрасный») поет восторженный гимн «букету роз — Колхиде». Сократив пушкинский текст втрое, даже не упомянув Италии, Торквато, Рафаэля, Байрона и др., — В. Орбелиани дополнил его описанием цветущего пейзажа, восхвалением грузинских красавиц и заключил стихотворение выражением своей безграничной любви к родному краю.

Аналогичную «операцию» проделал В. Орбелиани с

знаменитым «Зимним вечером» Пушкина. Взяв из него основную схему и «строительный материал», грузинский поэт в своей переделке («Бушует буря») специфическо-русские картины, мотивы и слова заменяет грузинскими. Старушка приглашается к камину — «Изжарим шашлык на вертеле», «опрокинем кулу»... Далее вместо песни о синице и девице в стихотворение вносятся столь близкие сердцу переводчика историко-патриотические мотивы: чудесные песни и сказания о героях былых времен, «славных временах грузинских мечей», о битвах с Азат-ханом, о красоте Меджврисхеви и золотистой Карталинской долины.

Так же вольно обращается В. Орбелиани с «Телегой жизни» и «Воспоминанием» («Когда для смертного умолкнет...»). Даже в отрывке «Евгения Онегина» («Сонм красавиц») первые же строки — «У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве» — видоизменяется и вместо «Москвы» появляется «сад».

Кроме названных выше, у В. Орбелиани имеются и другие стихотворения, являющиеся также подражаниями или «уподоблениями» Пушкину, хотя на это в подзаголовках нет никаких указаний. В этом плане еще К. Д. Дондуа сопоставил «Прошли годы» В. Орбелиани и пушкинское стихотворение «К***» («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу»)[1].

«Особенно следует отметить, — писал К. Дондуа, — стихотворение В. Орбелиани «Старому другу». «Приезжай, обращается поэт к своему другу, передо мной раскрыто великое творение Руставели, насладимся его стихами, Гёте, Шекспира и Шиллера вновь вместе перечтем. Побеседуем по душам, оживим в памяти прошлое, развернем летопись нашей родины» и т. д. Естественно спросить себя — не чувствуется ли и здесь влияние «Городка» Пушкина и его посланий к Юдину, Алексееву, Галичу? Вопрос этот мы вправе поставить, зная исключительную любовь Вахтанга к Пушкину и предпочтение, которое он отдавал ему перед другими русскими писателями»[2].

---

[1] «Пушкин в мировой литературе», стр. 212—213.
[2] Там же, стр. 214.

Предположение исследователя имеет известное основание, но правдоподобнее было бы усмотреть в «Старом друге» влияние стихотворения Пушкина «19 октября» (1825), где великий поэт, обращаясь к В. К. Кюхельбекеру, пишет:

«Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви» (II, 427).

Наконец, следует отметить, что и в поэме В. Орбелиани «Ганкитхва» («Суд») чувствуется влияние Пушкина и Лермонтова. Герой поэмы, убивший своего соперника и не добившись счастливой жизни со своей возлюбленной (ее отправили в монастырь), самоотверженно и отчаянно сражается с врагами родины, но подобно пушкинскому Гирею («Бахчисарайский фонтан»), также самозабвенно воевавшего, «иногда вдруг задумывается, что-то из прошлого вспоминает: он забывает, что идет борьба, не замечает пальбы, не слышит шума всадников, не видит сверкающих сабель, задумавшись, он не замечает, что в его сторону пули градом летят».

Невольно вспоминается театральная поза Гирея, которую позже сам Пушкин считал неудачной:

«Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю, и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг» (IV, 168).

Следы пушкинского влияния можно найти и в ряде других произведений В. Орбелиани.

Таким образом, под пером В. Орбелиани стихи Пушкина, как правило, настолько приспосабливаются к грузинской жизни, приобретают столь ярко выраженный грузинский колорит, что читатель их воспринимает как оригинальные творения самого В. Орбелиани. Это действительно полуоригинальные творения грузинского поэта, своеобразный сплав «чужого со своим», не механическое соединение, а именно — чудесный поэтический сплав.

Одним из первых переводчиков Пушкина на грузинский язык был скромный поэт-романтик Соломон Ивано-

вич Размадзе (1798—1860). С 1811 года он жил в Петербурге у царевича Теймураза Багратиони. За двадцать с лишним лет пребывания в столице России С. Размадзе получил хорошее образование, в совершенстве овладел русским языком и начал переводить на родной язык стихотворения своего любимого поэта. Два из них были напечатаны еще при жизни Пушкина — в 1832 году в журнале Соломона Додашвили («Литературная часть Тифлисских ведомостей», № 5).

Первое озаглавлено «Стихотворение. Мелодия. Испанская песня». В скобках указывается: «Перевод с русского», но автор не был назван. Это — известное пушкинское стихотворение «Ночной зефир струит эфир» (1824). Перевод удачный, легкий, можно сказать, «воздушный» и довольно точный, чего нельзя сказать о переводе «Веселого пира» (под заглавием «Пир»), непосредственно следующего в журнале за «Испанской песней».

Если у Пушкина пируют с вечера до утра, то Соломону Размадзе этого показалось мало и он растянул кутеж на три дня, причем придал столу грузинский колорит (песню заглушает стук турьих рогов).

Другие переводы Размадзе в свое время не увидели света. В альбоме царевича Теймураза хранились переводы «Пробуждения», «Пророка», «Демона», «Братьев-разбойников» (отрывки) и отрывка из «Евгения Онегина»[1]. Любопытно, что С. Размадзе из романа в стихах перевел ту же 52-ю строфу VII главы, которую позже перевел и Вахтанг Орбелиани. Причем, оба они по-своему заменили пушкинскую строку: «Красавиц много на Москве», Орбелиани заменяет Москву «садом», а Размадзе — «Тбилиси».

Нет необходимости распространяться об этих переводах. Тем более, что их комментированный обзор дан

---

[1] По предположению исследователя А. З. Абрамишвили, примерно в 20-х годах, С. И. Размадзе перевел также «Морфей» Пушкина (см. газ. «Литература да хеловнеба» от 13 августа 1950 года).

в работах К. Дондуа[1], И. Гришашвили[2], Н. Алания[3] и других исследователей. Все они единодушно признают, что С. Размадзе был талантливым поэтом и переводчиком, что, несмотря на частые отступления от оригинала и вольное «огрузинение» некоторых пушкинских стихов, он старался, нередко довольно удачно, точно передать оригинал, дух и обаяние пушкинской поэзии. Выполненные мастерски, эти переводы имели определенное значение для развития грузинской поэтической культуры. Размадзе ввел в грузинское стихотворение новые размеры, легкий слог, свежие рифмы.

В 1832 году С. И. Размадзе из Петербурга направляется в Иран в русское посольство в качестве переводчика. По пути он останавливается в Тбилиси, на четыре месяца. Здесь Размадзе сближается с участниками заговора, раскрытого в декабре того же года. Царские власти его ссылают в Пензу, где и протекает вся дальнейшая жизнь и скромная деятельность Соломона Размадзе[4].

Небезынтересно отметить, что в альбоме царевича Теймураза, помимо названных размадзевских переводов, сохранились переводы «Ангела» (переведен в 1830 г. Теймуразом), «О, Муза пламенной сатиры» (два перевода, фамилии переводчиков не указаны)[5].

Вообще пушкинские творения пользовались исключительной популярностью и любовью среди грузинских деятелей. На следствии Гр. Орбелиани показывал, что на одной из сходок участников грузинского заговора они рассуждали «о русских стихотворениях, и именно о Бахчисарайском фонтане, коим Георгий Эристов, быв в восхищении, обещался перевести на грузинский язык...»[6].

---

[1] Пушкин в мировой литературе, стр. 204—207.

[2] Переводы Размадзе, хранившиеся в альбоме царевича Теймураза, опубликованы И. Гришашвили в газете «Комунисти» в 1935 г. (№ 229). См. также «Литературные очерки» И. Гришашвили, 1952, стр. 125—130 (на груз. яз.).

[3] Н. Алания. Соломон Размадзе — переводчик (Сб. «Литературные разыскания», т. XIV, 1962, стр. 133—138, на груз. яз.).

[4] Сын его Александр был профессором Московской консерватории, известным музыковедом.

[5] Пушкин в мировой литературе, 1926, стр. 203.

[6] ЦГИАГ, ф. 1457, т. XVIII, л. 3512.

Мы не знаем, выполнил ли он обещанное, но известно, что позже Г. Д. Эристави перевел «Пью за здравие Мери» и написал несколько стихотворений в подражание Пушкину.

О популярности стихов Пушкина в Грузии говорит и тот факт, что еще при его жизни (не позже 1833) Давид Корганов (Корганашвили) перевел «Под вечер, осенью ненастной», озаглавив его «Романс» (опубликовано лишь в советское время)[1].

Из сказанного следует, что Пушкиным увлекались и его переводили все грузинские романтики, причем в переводе некоторых стихотворений они словно состязаются. «Пробуждение» переводят и Александр Чавчавадзе, и Соломон Размадзе, и Л. Исарлишвили, и другие. «Веселый пир» — Гр. Орбелиани и С. Размадзе; отрывок из VII главы «Евгения Онегина» — В. Орбелиани и С. Размадзе; отрывки из «Братьев-разбойников» — С. И. Размадзе и М. Б. Туманишвили... К оригиналу ближе стоят переводы А. Чавчавадзе, далее всех остальных — подражания и «уподобления» Вахтанга Орбелиани.

В книге не раз говорилось о том, что грузинские литераторы имели с Пушкиным идейные, творческие и, судя по всему, также личные связи. Об идейно-творческих связях говорилось определенно, на основе неопровержимых фактов; что же касается личного знакомства грузин с великим русским поэтом, об этом высказывались лишь предположения. Но естественно возникает вопрос — если имело место живое общение, почему об этом умалчивают обе стороны? Почему Пушкин, рассказывая о своем трехнедельном пребывании в Тбилиси, где он «познакомился с тамошним обществом» и провел вечера «при звуке музыки и песен грузинских», никого из грузин не назвал в «Путешествии в Арзрум»?

Поэт-исследователь Г. Н. Леонидзе высказал правдоподобное предположение: это произошло, видимо, потому, что почти все те лица, с которыми общался Пуш-

[1] Сб. «Пушкин в Грузии», 1938, стр. 185 — 186 (на груз. яз.).

кин в Грузии, оказались причастными к «Заговору 1832 года» и во время издания «Путешествия в Арзрум» находились в ссылке[1]. Упоминание «грузинских злоумышленников», как и декабристов, было чревато серьезными последствиями.

Но почему же нигде ни словом не обмолвились о знакомстве с Пушкиным, допустим, А. Чавчавадзе и С. Додашвили, с которыми вероятнее всего встречался автор «Путешествия» в Тбилиси в 1829 году? Очевидно, потому, что Додашвили после этих предполагаемых встреч был арестован и сослан в Вятку, где и скончался в 1836 году, а Чавчавадзе, вернувшийся из Северной ссылки лишь осенью 1837 года, вообще не оставил нам никаких мемуаров. Впрочем, возможно многие его бумаги погибли при разграблении и сожжении чавчавадзевского дома в Цинандали в 1854 году. Следует учесть, что вообще от грузинских романтиков сохранилось очень мало писем и воспоминаний.

[1] Газ. «Комунисти», от 30 сентября 1936 г.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (в Москве).

ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив (в Москве).

ЦГИАТ — Центральный государственный исторический архив Грузинской ССР (в Тбилиси).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (в Ленинграде).

РОБЩ — Рукописный отдел государственной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина (в Ленинграде).

ИР — Институт рукописей им. К. С. Кекелидзе Академии наук Грузинской ССР (в Тбилиси).

Акты — «Акты кавказской археографической комиссии».

ф. — фонд

ш. — шифр

оп. — опись

св. — связка

ч. — часть

эксп. — экспедиция

л. — лист.

СОДЕРЖАНИЕ

ГРУЗИНСКИЕ МОТИВЫ В ЮЖНЫХ ПОЭМАХ ПУШКИНА 5

Первая поездка Пушкина на Кавказ. Первая южная поэма (5). Двойственный пафос «Кавказского пленника». Отношение Пушкина к Кавказу (7). Имеется ли противоречие в оценке Грузии в «Кавказском пленнике» (где Грузия названа счастливой) и стихотворением «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной»? (12). Образ грузинки Заремы в «Бахчисарайском фонтане» (15). Легенда о «фонтане слез» и ее историческая недостоверность (19). Жена Керим Гирея Дилара Бикеч — прототип Заремы и Марии (21). Устные и письменные источники, откуда Пушкин мог черпать сведения о Грузии (26).

О «САМОВОЛЬНОЙ» ПОЕЗДКЕ ПУШКИНА В ЗАКАВКАЗЬЕ, «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ» 34

Источники о пребывании Пушкина в Закавказье (34). Усиление интереса поэта к Закавказью с 1826 года (37). О причинах «недозволенной» поездки Пушкина в Грузию (40). Петербург—Тбилиси—путь к ссыльным декабристам (46). Друзья и враги Пушкина в Закавказье (50). Поэт в походе. Среди «старых приятелей» (53). Значение кавказских встреч для творчества Пушкина. Усиленная работа над декабристскими темами (62). О значении встреч 1829 года для ссыльных декабристов (65). Отношение поэта к русско-турецкой войне (69). Пушкин и Паскевич (73). Противопоставление Ермолова Паскевичу в «Путешествии в Арзрум» (82). О подлинных героях войны (87). Критика царской колонизаторской политики в «Путешествии в Арзрум» (90). Грузинская действительность в «Путешествии». Встречи с М. Г. Казбеги и Б. Г. Чилашвили (92). Описание Тбилиси. О стихотворении «Ахало агнаго», заинтересовавшем Пушкина (100). Об источниках «Путешествия в Арзрум». Расшифровка инициалов «Н. Н.» (104).

ГРУЗИЯ В СТИХАХ ПУШКИНА. ГИМН ТЕРЕКУ . . 107
Грузинские мотивы в стихах Пушкина до его поездки в Закавказье. О М. Н. Раевской-Волконской (107). «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной» (113). «На холмах Грузии» (115). Гимн Тереку в «Кавказе» и в других стихах поэта (119). «Обвал» (126). О воспевании Терека в произведениях Лермонтова, Александра Казбеги, Ильи Чавчавадзе и других писателей (130). «Монастырь на Казбеке». О специфике пушкинского пейзажа (133).

ПУШКИН И «ТИФЛИССКИЕ ВЕДОМОСТИ» 140
Пушкин о редакторе «Тифлисских ведомостей» П. С. Санковском и заместителе редактора В. Д. Сухорукове. Загадочный арест Сухорукова (140). Об организаторах и руководителях «Тифлисских ведомостей» (147). Сотрудничество в газете ссыльных декабристов. Борьба с реакционной прессой. Причины ареста Сухорукова (153). «Тифлисские ведомости» о Пушкине (161). Пушкин и Санковский. «Тифлисские ведомости» в оценке поэта. Намерение Пушкина сотрудничать в этой газете (163). Пушкин и Сухоруков (167). Пушкин и Соломон Додашвили (170).

ПУШКИН И ГРУЗИНСКИЕ РОМАНТИКИ 176
О связях грузинского романтизма с русской литературой, Пушкиным (176). А. Чавчавадзе — связующее звено между прогрессивными силами России и Грузии. О личных встречах Чавчавадзе и Пушкина (179). Идейно-творческие связи Чавчавадзе с Пушкиным, Грибоедовым, декабристами (187): Чавчавадзе — переводчик Пушкина (193). Гр. Орбелиани и передовая русская литература, пушкинская поэзия (197). Орбелиановские переводы и «подражания» Пушкину (207). Исключительная популярность Пушкина среди учеников Тифлисской гимназии (Н. Бараташвили, М. Туманишвили и др.) (210). Н. Бараташвили и Пушкин (214). Пушкинские стихи в переводах, подражаниях и «уподоблениях» Вахтанга Орбелиани (219). С. Размадзе как переводчик Пушкина (223). Условные сокращения (228).

ШАДУРИ ВАНО СЕМЕНОВИЧ

ПУШКИН И ГРУЗИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Редактор М. Заверин
Художник И. Гурро
Технический редактор А. Якимова
Корректор Э. Нейман

Подписано к печати 29 ноября 1966 г. Бумага № 2 — 84×108 1/32. 7,25 печ. листа = 12,18 усл. печ. листа. Учетно-издательских 11,77 листа. Заказ № 1846 Тираж 5.000 УЭ 06571

Цена 81 коп.

Издательство «Литература да хеловнеба». Тбилиси, пр. Плеханова, № 181.

Полиграфкомбинат ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина, № 14.

ვანო სიმონის ძე შადური

პუშკინი და ქართული საზოგადოება

(რუსულ ენაზე)